

АФИНЫ V ВЕКА





<|>

Рождение Еврипида приурочено легендой к тому знаменательному дню¹, когда одновременно на востоке и западе эллины наголову разбили варваров: около Саламина союзный флот под командой Еврибиада и Фемистокла нанес сильное поражение Ксерксу, а под Гимерой сицилиец Гелон победил карфагенский флот, приведенный туда Гимелькаром².

Родители Евр<ипида> оставили ему хорошие средства. Еврипид работал для сцены (почти исключительно афинской) около 50 лет и считался автором 92 драм. Умер он в начале 406 года в Македонии, где он провел перед этим полтора года у царя Архелая, и погребен в долине Арефусы, недалеко от г<орода> Амфиополя. Как при жизни, так особенно после смерти слава его распространялась далеко за пределы Аттики³.

Вот все, что мы могли бы с достоверностью сказать о судьбе Еврипида. Но в действительности предание сохранило нам гораздо более сведений: только их приходится добывать разбором анекдотов и пародий. Критическая работа над этим материалом началась еще в древности: так Филохор, афинский предсказатель IV века (только один век отделяет его от Еврипида)⁴ в исследовании о трагедии⁵ <...>

<...> после 480 г. эта дорийская держава утрачивает не только всякое значение в политическом и торговом мире, но даже самостоятельность, а еще через 25 лет город лежит в развалинах, а граждан его постигает поголовное изгнание. Теперь взгляните на Афины. Едва оправившись от самой безотрадной и даже унижительной войны с Эгиною, благодаря той же Саламинской удаче, в какие-нибудь двадцать лет демократическая

¹ 20 боэдромия 1-го года 75-й Олимпиады.

² Her., VII, 166; cf. J. Beloch. *Griech<ische> Gesch<ichte>*, I, 390, A. 2.

³ U. v. Wilamowitz-Moellendorff. *Heraclides*, I, s. 1 sqq.; P. Decharme. *Euripide et l'esprit de son théâtre*. P., 1893. P. 1 ss. В самое последнее время Wilhelm Nestle. *Euripidis d<er>. Dicht<er> d<er> gr<iechischen> Aufkl<ärung>*. Stuttgart, 1901. v. 9 ff.; 374 ff.

⁴ О значении его см. м. пр. H. Weil, a. a. o., p. I, note 1. W. Nestle, a. a. o., S. 375, A. 2.

⁵ Или, может быть, в специальн<ом> сочинении Περὶ Εὐριπίδου. (Дальше не хватает листов. На первых трех листах рукописи пагинация сносок дается Анненским крестиками и отдельно на каждом листе, после пропуска пагинация дается цифрами, начиная с цифры 4. — В. Г.)

община Фесея, еще вчера беззащитная и с суши и с моря, становится крупной морской державой и казначеем союза, который насчитывает до 200 городов. Но, может быть, еще ранее город полагает основу для такого широкого промышленного развития, что даже в IV веке, после всех злоключений Пелопоннесской войны, он продолжает оставаться значительной гаванью и крупной культурной силой⁶. Саламин стоит на повороте афинской истории. Не следует, однако, преувеличивать значения случайностей. Как ни ярко было самое событие античной Цусимы, но не только слепое счастье победителей, даже гений их вождя и патриотическая выдержка «благомыслящих»⁷ должны быть отодвинуты на второй план и уступить место истинным, хотя и не столь ярким двигателям истории, каковыми являются жизненность политических учреждений и свободно действующая сила масс.

Обратимся же прежде всего к рассмотрению этой подкладки Саламина.

Небольшая (всего 2500 кв. верст) Аттика была обращена к Эгейскому морю прихотливо изрезанной полосой земли. Таким образом, сама природа указывала искони населявшему ее народу, в какую сторону должна развиваться его история. Афиняне создали легенду своей туземности, и эта легенда, несомненно, сыграла свою роль в росте созданного обитателями Аттики общественного строя. В Афинах не было илотов — покоренных, забранных, не было там почвы и для аристократического подбора дорян. С другой стороны, родоначальником могущества и культурной силы афинян не являлся и какой-нибудь заезжий семит, вроде Кадма. Дело не в чистоте крови: эта чистота искусственно и ненадолго явилась принципом афинского гражданства уже гораздо позднее, в те годы, когда Афины стали страдать от бесполезного переполнения иностранцами⁸.

Население Аттики отличалось большой духовной одаренностью. Мягкость ионийцев соединилась в темпераменте афинян с энергией обитателей бедной и незащищенной природою страны, а ионийская общительность сочеталась у них с удивительной любовью к слову как орудию политики. Афиняне были не только словоохотливыми собеседниками и артистами речи, но они создали также почву для высшей культуры слова

⁶ J. Beloch, a. a. o., I, 397.

⁷ Так называет Геродот в отличие от «мидиянствующих» (οἱ μηδίζοντες) стойких противников паря.

⁸ Смысл легенды туземности был, конечно, не в том принципе чистоты крови в Перикловом законе, по которому ни Фемистокл, ни Кимон не были бы стратегами, а в смысле развития любви к своей земле и веры в свою эллинскую силу.

и положили начало его тсории: политическая и судебная речь, с одной стороны, и драма, с другой, не только возникли в Афинах, они стали в этом городе формами для фактов мирового общественного значения. Наконец, в уме афинян, наряду с изумительной расчлененностью в выражении мыслей (см. речи Перикла у Фукидида), следует отметить еще смелость фантастических построений: умение жить будущим, не отступая ни перед риском, ни перед жертвами, нигде не проявились так ярко, как в конце восьмидесятих годов пятого века и в исходе Пелопоннесской войны.

Почва Аттики производила недостаточно для нее ячменя и в избытке оливок. Поэтому в истории Афин с давних пор проявилась борьба за рынки, особенно хлебные. Так, сначала афиняне еще в половине V века все добиваются ключей от Геллеспонта, потом они делают неудачную попытку захватить рынок в Египте и доходят до дерзости — уже роковой — прибрать к рукам и сицилийские базары.

Отметим еще необыкновенно быстрый рост афинского населения в V веке: за 80 лет от конца тирании до начала Пелопоннесских войн число афинских жителей возросло с двадцати тысяч на сто.

Хотя история Афин приурочивается обыкновенно к целому ряду громких имен, но времена школьного классицизма миновали безвозвратно, и теперь, называя Клисфена или Фемистокла, мы отлично сознаем, что их исторические характеристики значительной своей частью основаны лишь на условной метонимии. Гений демагога определялся в Афинах только его успехом, а успех — своевременностью, если не неизбежностью того, что он делал. Кимон вовсе не был гениальнее или отважнее своего отца в экспедициях против островитян. Дело было только в том, что у афинян его времени были стены, флот и Саламинская слава, тогда как за марафонским стратегом числился лишь успех его гоплитов, который решительно ничего не говорил паросским каменщикам.

В Аттике истари славилось три богатых и влиятельных рода: Писистратидов, Филаидов и Алкмеонидов. Но к началу последнего десятилетия шестого века Писистратид Гиппия, вчерашний тиран, был уже вассалом Дария, а Филаид Мильтиад княжил в Херсонесе, женатый на местной царевне, и тоже вассал персидского царя. Политическая роль силою вещей переходила, таким образом, к Алкмеонидам, во главе которых в это время стоял Клисфен, сын Мегакла. Это был гениальный политик и законодатель, хотя вокруг его имени, по какому-то капризу судьбы, не содалось даже легенды. С тонким расчетом он вовлек в политическую игру и Дельфы и Спарту, перед которой и капитулировал последний Писистратид. Помощь Спарты устроили ему дельфийцы в награду за то, что Алкмеониды когда-то сумели услужить богу в качестве добросовестных

подрядчиков при постройке храма⁹. Освободив страну от Гиппии и его партии, Клисфен дал Афинам то удивительное устройство¹⁰, которое освободило дремавшие дотоле народные силы и выдвинуло вперед таких людей, как Фемистокл, Аристид и Эфиальт.

В основе новой политической организации лежали мелкие автономные общины, кажется, примыкавшие к старым поселкам, а объединившие их десять фил — уже местных, через своих выборных представителей, равномерно и поочередно участвуя в суде и управлении, раз навсегда изъяли родовой принцип из официального строя Афин. Все родовые, городские и дружинные гнезда оказались при этом перепутанными и разоренными: Алкмеонид Леобот попал, например, в Ерехфесву филу, а Мегакл (племянник самого Клисфена) в Апрохейскую¹¹. В войске элевсинец сражался рядом с декелийцем, а афиднеец с фалерцем¹². Самый город Афины, с ближайшими его окрестностями, поделен был между всеми десятью филами. Таким образом, демос как бы заранее вооружался против новых попыток устроить в среде единообразной Клисфеновской общины какой бы то ни было *status in statu*. Ему довольно было пережитой тирании, с ее несвоевременными начинаниями и дорогостоящими фантазиями.

В Клисфеновской конституции, несмотря на всю ее рационалистичность¹³, проявился не столько кабинетный план теоретика, сколько пчелиный ум демоса, который строит свой улей. Силы созрели, им нужен был простор. Между тем политическое положение Афин никогда не было, кажется, и менее выгодным, чем именно в эти годы. С юга Аргос поддерживал Писистратов, с севера грозили беотийцы, Спарта вообще относилась к Алкмеонидам с некоторым недоверием. Хлебные рынки были в руках у коринфян, мегарцев и эгинетов (эгейцев. — В. Г.), а персы уже хозяйничали во Фракии. Между тем в афинском населении уже разыгрывались колониальные и торговые аппетиты: их раздражил еще владелец Пангейских россыпей, стремясь завладеть ключом к Геллеспонту.

Мы привыкли говорить не иначе, как с суровым осуждением о толпе кожевников и плотников, которые осудили в Сократе учителя столь па-

⁹ Her., V, 62: здесь выясняется отношение Алкмеонидов к Дельфам.

¹⁰ О Клисфене и его реформе: Herod., V, 66, 69 sq., 71 sq.; Arist. *Ath^{en}ian^{en}* *pol^{it}itia*, 20–21; J. Beloch, a. a. o., I, 334 ff.

¹¹ Ссылки см. у J. Beloch, a. a. o., I, 334, A. 1.

¹² U. v. Wilamowitz-Moellendorff. *Aristoteles und Athen*, II, 78: das Gemeinschaftsgefühl der neuen Regimenter ist rasch erwachsen; es lebt in den Leichensteinen des Kameikos und in magerem Abglanze in den Leichenreden.

¹³ Проф. Р. Виппер. *Лекции по истории Греции*. Ч. 1. М., 1905. С. 113.

мятного им Критии. Но не надо забывать при этом, что не более чем за сто лет до этого суда такая же толпа спасла Клизфеновскую конституцию, а тем самым, может быть, и расцвет эллинской культуры. Когда Спарта увидела, что она сыграла в руку врагам старого режима и вследствие этого по ее проискам Клизфен был изгнан, а в Афинах принялся хозяйничать Исагора, выбранный реакционной знати, демос в несколько дней очистил город от пелопоннесцев. Вскоре затем была испытана и жизнеспособность молодой демократии: афинские войска разорили Халкиду, и даже сильные беотийцы потерпели от них на берегу Еврипа чувствительное поражение¹⁴.

Но гораздо ярче проявилась политическая сила нового общественно-го уклада в первые десятилетия пятого века.

Эти годы выдвинули Фемистокла.

За двенадцать лет до Саламина в афинской хронике впервые появляется это имя. Фреарец Фемистокл, сын Неокла, добивается в этом году осуществления плана, который черне был составлен еще Гиппией. В силу этого законопроекта вместо открытой бухты Фалера возникает в защищенном природою месте Пирей¹⁵, вскоре затем целый город. Вслед за этим Фемистокл на целых десять лет исчезает с политической арены. В промежуток в Афинах сверкнул щедрый и влиятельный Мильтиад. Слава Марафонской победы — хотя спартанцы и не унесли персидских трофеев — лишь ненадолго запорошила глаза афинскому демосу. Он прозрел, когда через каких-нибудь два года после Марафона раненого Мильтиада привезли из-под Пароса. А еще более просветлили афинские умы после унижительной для них войны с Эгиною. В 483/2 г. Фемистокл выступает снова и уже без труда проводит закон о постройке флота¹⁶. На сооружение трисер были, по предложению Фемистокла, обращены при этом арендные деньги за вновь открытый серебряный рудник на Лаврии: они должны были идти в раздел, но демос вотировал их на вооружение. Это была не только жертва, но и сильный ход: афиняне готовили себе как бы другой город, они заранее провозглашали свою новую судьбу. Если даже верить Геродоту, что афинский флот сооружался для войны с Эги-

¹⁴ Her., V, 77–81.

¹⁵ Thuc<ydides>, I, 93.

¹⁶ Her., VII, 143: ἦν δὲ τῶν τις Ἀθηναίων ἀνὴρ ἐς πρῶτους νεωστὶ παρίων, τῷ οὖνομα ἦν Φεμιστοκλέης, παῖς δὲ Νεοκλέος ἐκαλέετο. Геродот, по-видимому, употребляет слова νεωστὶ παρίων в смысле не только недавнего, но и первого <его> появления у дел. Едва ли бывшего архонта, ареопагита, автора столь важного законопроекта называли бы не по имени, а, как юношу, просто «сын Неокла». Тождество обоих Фемистоклов признает Белох (а. а. о., I, 362, А. 5) и Виламовиц (II, 82 без мотивировки).

ной¹⁷, то все же не надо забывать, что его спешное сооружение совпало с отголосками персидской подготовки к походу; данники Ксеркса уже рыли афонский канал, а вслед за этим застучали на Геллеспонте молотки царских мостоделов¹⁸.

Приготовления царя были серьезны: войска и флот (127 триер, по двум вариантам легенды¹⁹), хотя и разнородные, состояли главным образом из профессиональных сил. И на кораблях плыли искусные моряки из финикийцев и ионийских эллинов. Между греками, наоборот, преобладала милиция. Кто попал, например, на новые афинские триеры? Уж во всяком случае не опытные морские солдаты. В самой битве предание отдает пальму первенства не афинянам, а эгинцам²⁰ или даже коринфянам²¹.

Вернее всего думать, что у берегов Аттики силы противников были равны или почти равны. Но для персов их контингент являлся результатом убыли, понесенной флотом вследствие битвы у Артемисия, или бури, налетевшей с Геллеспонта²², а для эллинов, наоборот, результатом прироста в числе триер. Афиняне имели под Саламином 127 триер. Когда враги очутились друг против друга, Афины были уже взяты и сожжены, а все не боевое население Аттики ютилось кто по Пелопоннесским городам, кто на Саламине. Голоса в совете эллинских вождей разделились: причем, кажется, что у Эврибиада и Адейманта был план увлечь персидскую армаду еще далее на юг и дать царю сражение в виду Пелопоннеса с тем, чтобы десант, в случае поражения на море, мог соединиться с пешими дружинами и спасти полуостров. Наоборот, Афины, Эгина и Мегара, с их сильными контингентами, не хотели и не могли идти далее. Да и в самом деле, ведь с оставлением Саламина афиняне теряли не

¹⁷ Число 200 во всяком случае преувеличено, для войны же с Эгиной оно прямо бессмысленно. О числе кораблей под Саламином по отношению к численности персидского флота см. Hans Delbrück. *Geschichte der Kriegskunst im Rahmen d. politischen Geschichte*. I Jh. Berlin, 1900. S. 70; 71 ff.; 78 f.

¹⁸ У Геродота: VII, 144 источник сооружения флота указан совершенно определенно; Аристотель в *Афинской Политии* (22, 7) выставляет на вид анекдотичность этого известия. Время начала постройки флота устанавливается Виламовицем (*Aristoteles u. Athen*, II, 90).

¹⁹ Aesch. *Pers.*, v. 338 sqq. (Schiller-Conradt². 1888); Her., VII, 184.

²⁰ Her., VIII, 97.

²¹ Геродот изображает Адейманта в самых черных красках: коринфский вождь стоит за разделение сил (VIII, 59, 61) и обнаруживает даже упадок духа (VIII, 94); но не такова надпись на его гробе, где восхваляется его спасительный план (βουλῆ). См. попытку согласовать у Дельбрюка, а. а. о., 18.

²² Her., VII, 188 sqq.

только значительную часть жен и детей, но они обесценивали и низводили до бессмыслицы даже принесенную ими и несомненно патриотическую жертву²³. Битва состоялась в водных теснинах, — персы потерпели такое решительное поражение, что, не возобновляя на этот раз морских действий, Ксеркс повернул на север в <нрзб.>; провиделась даже надобность в царском авторитете, чтобы пешие дружины, которые он оставлял с Мардоном зимовать в Элладе, не оказались отрезанными от азиатского материка. Ионийцы были ненадежны. Таким образом, Пелопоннес был спасен, и самые Афины могли возобновлять свои постройки. О битве при Саламине и ее драматическом кануне мы знаем очень много, но видения наши малоценны исторически. Хитрость Фемистокла, которой древность единогласно приписывает локализацию греко-персидского столкновения, подтверждается, впрочем, свидетельством Эсхила. Сорокапятилетний драматург²⁴ принимал участие в битве, и через восемь лет он поставил на афинскую сцену своих «Персов». Здесь рассказ о Саламине ведет гонец, опередивший Ксеркса, чтобы известить его мать Атоссу и мидийских вельмож о страшном поражении монарха. Но воображение трагика пленилось на расстоянии не столько блеском победы и мудростью вождя, сколько пафосом побежденных и величием божественного возмездия. У Эсхила нет ни исторической перспективы, ни имен, и заслуга Фемистокла оставлена им в тени: гонец говорит только о хитрости одного из эллинов²⁵, который послал сказать царю, что греки готовы ночью разбежаться, помышляя каждый только о собственном спасении. Во всяком случае хитрость Фемистокла была прославлена еще при его жизни. Спартанцы, выделив мужество Эврибиада, как эллинского гегемона, должны были, хотя и скрепя сердце (καίτερ ἄκοντί), почтить хитрость афинского стратега: в Спарте его увенчали и дали ему эскорт из 300 юношей. Даже священные состязания на ближайших Олимпийских играх были забыты, когда среди зрителей появился Фемистокл. Весь день не переставали его чествовать, и сам великий честолюбец не мог не признать, что он сорвал в эти часы плод трудов, подъятых им за Элладу²⁶.

Из самой битвы Эсхил конкретнее всего передает схватку Аристиды и афинских гошитов с персидским десантом, который занял сторожевой пункт на острове Пситталее. Вероятно, именно здесь отличился и сам драматург. Как раз здесь, на суше, по словам гонца, «погибли самые силь-

²³ Зачеркнуто: «принесенный ими в жертву город. — В. Г.

²⁴ Согласно Паросской хронике, биограф делает его на шесть лет моложе.

²⁵ Aesch. Pers., 356. Несколько иначе у Геродота (VIII, 75). Опять-таки по-другому у Плутарха и Диодора.

²⁶ Plut. Themistocles, 17.

ные, благородные и верные царю, и, главное, погибли бесславной смертью»²⁷. Геродот передает утро битвы и ее канун с большими подробностями, но его легенда оставляет в нас много недоумений²⁸. В самом деле, почему сражение не произошло ранее в Еврипе; отчего Фемистокл не использовал слухов о том, что керкирейцы с 60 триерами (сила, которая стоила, по меньшей мере, столько же, сколько афинские милиционеры на неиспробованных и спешно сколоченных лодках) задержаны пассатами и что не сегодня-завтра они могут подоспеть на помощь союзникам²⁹. Какую роль играло во всем деле афинское правительство и где оно тогда находилось, и наконец, каковы были потери персов и чем они главным образом определялись?

То, что мы знаем о 480 году заставляет нас ограничиться следующими предположениями. Классическая ненависть Дария к афинянам была использована афинским демосом в лице его правительства³⁰ и демагога в тех видах, чтобы задержать персидский флот на позиции, выгодной союзникам. Царя надо было ошарашить афинским пожаром. Нельзя, с другой стороны, в роли Фемистокла искать одного холодного расчета. В том, что назавтра, после успеха, стало казаться гениальной хитростью, еще накануне ночью было более отчаянья, чем провидения. Наконец, хотели ли пелопоннесцы точно бежать, или все это лишь драматизированная Геродотом догадка его, но не надо упускать из виду и того обстоятельства, что под Саламином эллины сражались за Пелопоннес и, может быть, в сущности, более всего за эту область своих гегемонов. Север и средняя Греция были уже в руках Мардония. Наконец, кому бы ни принадлежала пальма первенства в самой битве: Эгине, Коринфу или Спарте, но по существу эта битва была решена, конечно, силою афинской милиции и афинского демоса, который с небывалой энергией и чисто фантастическим риском создал в два года флот и проявил его в эти дни не только в качестве боевой единицы, но и в качестве новой формы жизни³¹. Персы,

²⁷ Aesch. *Pers.*, 441 sqq.

²⁸ Об этом интересные стр<аницы> у Дельбрюка, а. а. о., S. 73 ff.

²⁹ Нег., VII, 168. По-видимому, на эту именно главу Геродота указывает и Г. Дельбрюк, без особой ссылки, однако (стр. 74).

³⁰ Аристотель в «Афинской Политии» (гл. 25) видит заслугу снаряжения афинского флота в меропрятии ареопага, который выдал морякам по 8 драм авансом. Стратеги, по его словам, совершенно потеряли голову. Плутарх (*Them.*, 10), следуя Аттидографу Клейдину, сохраняет заслугу за Фемистоклом. В сущности, для объяснения Саламинского успеха полезны обе версии. См. также блистательное опровержение Аристотеля у Вилламовица (ук. соч., I, 193 сл.).

³¹ Геродот характерно изображает это в словах Фемистокла к Эврибиаду: «Итак, послушай меня. Если же ты поступишь так, мы немедленно забираем на корабли

может быть, и не подозревали даже, что им придется иметь дело с афинскими триерами, тем более в таком числе. Еще два слова о герое Саламина. Собственно говоря, это был не столько стратег, сколько великий политик. Кроме постройки новой гавани и флота, он доказал это после Саламина искусным возведением афинских стен среди самых невозможных условий³². На этом и закончилась его роль в качестве представителя афинского демоса. Менее чем через 10 лет после своего небывалого успеха он уходит в изгнание; следом его начинают травить по всей Элладе и наконец загоняют к Артаксерксу, где уже в старости его ждет почет исключительного вассала и в результате, кажется, самоубийство. Судьба последних лет Фемистокла, до сих пор еще не вполне для нас ясная³³, лишний раз показывает нам, что в V веке слава афинского демагога определялась более всего его соответствием моменту. Действительно, в 70-е годы Спарта была еще безмерно сильнее Афин, и реальность афинской политики, или, точнее, инстинктивного охранения демосом своих непосредственных и насущных интересов, не допускала мечты о разрыве с этой державой. Фемистокла сменил Кимон, непримиримый, наследственный враг персов и определенный лаконофил. Чтобы политическое прозрение Фемистокла, который еще до окончания греко-персидской войны вел дело к столкновению со Спартой и простирали виды на Сицилию, вошло в политическую программу, Афинам надо было не только пережить горький опыт Кимонова унижения, дерзость политики Эфиальта³⁴ и положение материальных средств в эпоху Перикла, но самый демос должен был дорасти до того, чтобы Пирей выдубил Клеона, и род хитрых дельфийских подрядчиков расцвел Гермопидом.

II

Имена Клисфена и Фемистокла неразрывно связаны для нас с представлением о демократии как чистой социальной форме, я бы сказал даже, принципе. Если имена эти вызывают идею тирании, <то> лишь по кон-

наших домашних и переселяемся в Италию, в город Сирм, который искони был нашим и, по изречению оракула, должен быть заселен нами» (VIII, 62; цит. по перев. Ф. Мищенко).

³² Thuc., I, cc. 89 sqq.

³³ Несмотря на блистательные страницы Виламовица (*Ar<istoteles> u<nd> Ath<en>*, I, 143 ff.).

³⁴ Max Duncker. *Gesch<ichte> des Alterth<ums>*, VIII, S. 272: Seine «Politik war kühn, vielleicht zu kühn» — цитирую по Г. Дельбрюку: *Die Strategie d. Pericles, erläutert durch die Strategie Friedr<ichs> d. Gross<en>*. Berlin, 1890. S. 49.

трасту. Но уже Кимон не чужд угождения демосу, и к его имени невольно примешивается представление об авторитете и нравственной опеке³⁵. Самый демос, обеспеченный и спокойный, пророчил в будущем аллегорическую фигуру Аристофановых «Всадников». Помните? «Хозяин, с грубыми вспышками, любитель бобов и раздражительный, демос Пника, этот несносный старикашка, да к тому же еще и тугой на ухо... И ку-пи<л> он себе в последнее новолуние раба-пафлагонца, кожевника...»

В душе Еврипида был глубоко заложен слой истинного демократизма, и он ни разу, ни по какому поводу не обожествовал творческим словом тирании. Фессей его «Умоляющих» не царь, это даже не демагог, это только символ демократических Афин, символ самого державного демоса. В театре Еврипида еще можно найти отголосок того времени, известного ему более по преданию, о котором так хорошо сказал Виламовиц: «Die demokratische Zeit leitet vornehmsten weise damit ein, dass die Personen der Führer hinter dem Volke verschwinden die ersten glänzenden Siege sind an keines feldherrn Nāmen geknüpft; von leitenden Staatsmännern hört man nichts»³⁶. Эти слова напрашиваются на сопоставление с речью Пелея из Еврипидовой «Андромахи»³⁷: «О, сколько ложных суждений гнездится еще в Элладе. Всякий раз, как войско ставит трофей из вражеской добычи, — эти люди не думают о тех, чье это дело, — вождь берет себе славу. В общем счете ведь он только единица и потрясает копьем, как тысячи других. Труд его тот же, что и солдатский, между тем о нем только и говорят. На должности он сидит надменный и, ничтожный сам, презирает народ. А простые люди во сто раз его умней, придай им только отваги да воли».

Я не могу не напомнить рядом с этим имя одного из современников Еврипида и, может быть, самого убежденного из греческих демократов, Геродота, этого *Wahlthener*, как называл его Виламовиц. Ни Перикл, ни Фукидид не пережили и четверти того, что давало особую жизненность демократизму Геродота. Принцип религиозной морали, им формулировал<ся> <как> завистливое божество (*φθονερὸν τὸ θεῖον*) <которое> было, может быть, лишь небесной проекцией властного демоса, тоже завистливого к личной славе и так же, как боги, лишь в силу справедливости.

³⁵ Зачеркнутый вариант: «что-то тираническое». — В. Г.

³⁶ v. Wil<amowitz>-Moell., а. а. о., II, S. 80. («Демократическая эпоха приводит прежде всего к тому, что исчезают сами личности руководителей народа; первые блестящие победы уже не связываются с именами какого-либо военачальника; о выдающихся государственных деятелях ничего не слышно».)

³⁷ *Andr.*, vv. 693–702 (Pr.-Weckl. 1901 <1900? — В. Г.>. v. III. P. I).

Но было бы большой ошибкой рассматривать демос даже первой четверти века как нечто сплошное. В нем не только различаются, но и постоянно борются две его неслиянные стихии: демос полевой, консервативный, неподвижный и миролюбивый и демос морской — купцы, ремесленники, матросы — и среди них политики, риторы и смертельные враги Спарты. Море поддерживало в демосе предприимчивость, любовь к захватам и риску. Поле, да притом же еще крайне ограниченное, беззащитное и неблагодарное, заставляло жить традициями и беспокойной мыслью найти *modus vivendi* со Спартой, с Аргосом, с Фивами. Различие стало еще резче с тех пор, как Фемистокл и Кимон воздвигли афинские стены. Гнездом морского демоса стал делаться Пирей — нижний афинский город: его население, находя работу в арсеналах и на постройках, не было озабочено произрастанием ячменя или смоквы. Да и на деле море, конечно, более работало на поле, чем само получало от деревень. Моряки своими военными удачами обеспечивали мужикам экспорт оливы, они же добывали для них и жеребьевые земли по островам и во Фракии. Но тогда как идеалы землевладельческой Аттики не шли далее Фесеевой синекезы и мистического культа аграрных божеств, афинские моряки создали идею империализма.

Демагогия филаида Кимона интересна именно ее попыткой объединить два эти столь различные элементы демоса. С одной стороны, легендарное счастье стратега сделало Кимона идолом моряков, с другой, он был лаконофилом как раз настолько, чтобы угодить сентиментальному национализму владельцев оливковых плантаций. Сын херсонесского тирана и фракийской царевны, Кимон был, конечно, особенно дорог афинянам в эпоху непрочных их хлебных рынков. Может быть, им нужен был даже не столько сам Кимон, как его деньги, связи и местный авторитет. С другой стороны, демос создавал, что и Кимону как крупному фракийскому владельцу важен афинский флот, и что он, Кимон, будет его беречь не только как стратег. Кимон, сквозь туман школьного классицизма, рисуется нам все же очень характерной фигурой.

Благодарный к согражданам, особенно к солдатам и к союзникам, Кимон являл собою не столько эллинского патриота, сколько приращенного, наследственного врага персов. Филаиды не могли вырастить ни Гиппии, ни Демарата, ни Фемистокла, ни Алкивиада. Искусный стратег, Кимон по своему времени, конечно, исполнял для Афин даже дипломатические поручения. Но он никогда не был политиком, человеком программы и расчета. Трудно сказать даже, в каком виде представлял он себе будущее той самой афинской державы, которую он с такой энергией создавал. Что касается до отношений к Спарте, Кимон проявил в них более рыцарства, чем политического расчета. Далес, он едва ли отдавал

себе отчет в том даже, что, развивая морское могущество Афин, он идет вразрез той самой консервативной политике, которая проявилась у него хотя бы в поддержке ареопага. Это старое учреждение отнюдь не может быть сопоставлено ни с римским сенатом, ни с палатой лордов. После реформы архонтата (в 486 г.), когда имя году мог давать не только всадник, но даже зевгит, собрание выбывающих из строя случайных магистратов теряло всякий смысл, и ему нельзя было вернуть старого значения. Но Кимон любил старицу как таковую, и в его показных национальных традициях будто чувствуется иногда даже стремление заставить забыть о своем полуварварском происхождении. Особым культом окружил Филаид героя деревенской Аттики — Фесея. Во время экспедиции на Скирос, где свили себе гнездо пираты, Кимон открыл там кости Фесея и на великолепной триере доставил этот дар афинянам, причем для достойного принятия праха им был построен даже особый храм, богато расписанный.

Дорянин по воспитанию, Кимон выше всего ставил мужество и с презрением относился к ионийской изнеженности. Фракийская же кровь сказала в Кимоне любовью к вину и деревьям. Кимон расцвел Афины платановыми насаждениями и перистилиями, давая согражданам не только добычу, но и прохладу для их досугов³⁸. Последняя четверть пятого века использовала эти портики для просветительных целей.

Эпоха Кимона совпала с детством и юностью Еврипида, и впечатления от его счастья, славных подвигов и любовного украшения Афин залегли в душе Еврипида очень глубоко. «В одном только, — пишет Гомперц³⁹, — никогда не сомневалась даже душа мрачного скептика Еврипида — в прелести его родного города. Венчанные фиалками и славные Афины; овеянные самым сияющим из эфиров сыны Эреклея, питомцы блаженных богов и их священная страна — губы Еврипида никогда не уставали открываться для их хвалы, и его песни будят еще и теперь, более чем через две тысячи лет, громкое эхо».

Кимон не был поклонником поэзии — кроме застольной, но он ценил краски, и с его временем свяжется представление о живописных мифах, которые должны были сильно действовать на восприимчивые умы афинской молодежи. В расписной колошпаде можно было любоваться эпизодами Троянской войны, а в усыпальнице Фесея — картинами его подвигов. Если вспомним предание о том, что Еврипид сам юношей учился живописи, и перечитаем дивные описания из «Иона» и «Геку-

³⁸ Зачеркнуто: «Не он ли создал их, этих досужих горожан, одного из которых потом звали Сократ?» — В. Г.

³⁹ Th. Gomperz. *Griechische Denker*. VI Lief. Leipzig, 1897. S. 24.

бы», а «Троянок», пожалуй, даже целиком — ведь это ж целый живописный складень, — то связь юности Еврипида с кимоновскими Афинами станет для нас несомненной.

Мне едва ли надо напоминать читателю уже известного ему «Геракла» и то обстоятельство, что в этой трагедии дорический идеал переносится Фессем на афинскую почву. Последний год жизни Еврипид провел на севере, при дворе македонского тирана. К тому времени Зевксис давно сменил Полигнота, и живописью вместо усыпальницы героя покрывали дворец узурпатора, — но досуг, пиры и охоты гостеприимного македонца, с его быстро развернувшейся военной славой, может быть, не остались для Еврипида чуждыми легенде Кимона⁴⁰.

III

Последним шагом в развитии демократических учреждений Афин явилось унижение ареопага: к концу 60-х годов V века за этим старым учреждением сохранилась лишь компетенция религиозных процессов да суд над убийцами. Этой мере, связанной с именем Эфиальта, предшествовал, кажется, ряд отдельных обвинений против ареопагитов. Великая реформа дебютирует скандальными разоблачениями: такова была вообще тактика и демократов и олигархов при борьбе их не только с лицами, но и с учреждениями. Обвинители Сократа могли назвать в числе своих предшественников самого Перикла, когда он еще молодым человеком выступал против Кимона⁴¹ с обвинениями в подкупленности.

Для Эфиальта борьба с ареопагом кончилась трагически, так как спартанская партия в Афинах была еще очень сильна. Едва ли дело было здесь, однако, в самом ареопаге, который все равно в это время был уже на пути к демократизации. Суть заключалась в том, что Эфиальт распределением функций ареопага между Советом 500 положил начало грозному усилению демоса.

Но противники Эфиальта провидели, и не даром, за унижением ареопага — одни рост внешней державности Афин, а другие дальнейшее падение деревенской Аттики, причем спартанцы, фиванцы и коринфяне боялись первого, а афинских лаконофилов смущала перспектива второго. Было бы ошибкой вносить в психологию практиков политиков конца века вроде Кимона или Фукидида, сына Мелесии, соображения

⁴⁰ Последние строки зачеркнуты: «Архелай трагедии был изображен, кажется, новым Гераклом, но Пенфей "Вахханок" прямолинеен, заносчив и груб». — В. Г.

⁴¹ Plut. Kim<on>, 14.

доктринеров олигархии, возникшие лишь в IV веке и *post factum*. Благодаря Эфиальту к половине пятого века демократический строй Афин развернулся во всю свою ширину.

Суд гелиастов — демократичный уже в силу одной численности своих агентов (их требовалось до 6000 в год) — был завален делами союзников, которые с уничтожением делосского мятежа, стали подданными афинян: даже казна, ввиду угроз возможного появления персов в Эгейском море, была перенесена на Акрополь, под эгиду Афинской девственницы, причем это перенесение, вероятно, надо поставить в связь с катастрофой, которая постигла афинский флот в устье Нила (454 г.).

Одновременно с судом демократизировался и контроль над действиям правительственных агентов, и даже более — высшая охрана законов. Они окончательно перешли к народному собранию и булэ. Контроль в демократических Афинах был вообще хорошо организован. Булевты выбирали из своего состава от каждой филы по одному справщику (εὔθυνος) с двумя ассистентами для суждения об отчетах чиновников, оставивших должность, а также для разбора жалоб на действия функционирующих. От такого процесса не ушел в 430 г. и сам Перикл после 15 лет стратегии. Вообще «афинский многоголовый государь не был капризным деспотом, он был весьма добросовестным и точным в исполнении своих обязанностей конституционным правителем»⁴². С унижением ареопага демократическая справа должна была, конечно, получить новое и широкое развитие. В качестве охраны законности служило конституционное право каждого гражданина вносить под присягой письменное обвинение против инициатора законопроекта в случае, если этот законопроект казался ему вредным для государства или противозаконным. Дело в этих случаях разбиралось в комиссии из шести фесмофетов, и обвинение могло повлечь за собою не только ограничение в гражданских правах, но даже казнь.

С именем Перикла соединяется у нас обыкновенно представление не столько о конституционном развитии афинских учреждений, потому что таковое было завершено Эфиальтом, сколько о социальной разработке Клисфеновой системы народоправства. Великий демагог сделал государственную службу доступною беднейшим из граждан: теперь взамен поденщины какой-нибудь безработный или вообще плохой ремесленник, не желая рисковать морской службой, мог идти в гелиасты, а это давало

⁴² Р. Виппер, ук. соч., 169. О значении слов εὔθυνος, εὔθυνα см. Wilamowitz, a. a. o., II, 236; εὔθυνα ist zunächst die Procedur des Gerademachens, aber nicht von seiten des Correctors aus, sondern dessen, der sich der Prüfung auf die Geradheit unterzieht; εὔθυνα — пеня, денежный штраф.

ему ежедневную диету в два (позже три) обола. Кормовые деньги стали раздаваться не только солдатам и матросам, но и членам Совета пятисот и наконец архонтам. Система раздач не ограничивалась даже платой за участие в суде или управлении: гражданам ассигновывали деньги на посещение театра в дни мартовских Дионисий, а время от времени между ними проводились раздачи хлеба⁴³. Государство принимало на себя также выплату пенсий гражданам, не способным к работе (положим, всего по оболу в день), и воспитание сирот, оставшихся после убитых на войне граждан⁴⁴. Сверх того союзническая, а ныне афинская казна давала возможность Периклу организовать общественные работы в самых широких размерах: вознесли длинные стены, Пропилеи, Парфенон, Одеон. В начале Архидамовой войны Перикл, ободряя афинян, указывает им на запас, который у них еще есть, — 6000 талантов, — было гораздо больше, но 3700, по словам его, унесено постройкой Пропилеев и осадой Потидеи⁴⁵. Но мы знаем также, что на один Парфенон за 15 лет (с 447 г.) было истрачено 7000 талантов⁴⁶. Ответственность за эту политику едва ли справедливо, однако, возлагать всецело на одного демагога. Державный демос был и сам по себе в эти годы не только значительной, но и хорошо организованной силой, и Платон, может быть, ближе других подходит к истине, видя в Перикле лишь его великого угодника (δῖακονος). Точно, это был человек, который берег народ и думал за него более, чем старался вести его к прозреваемым им лично, но демосу не очевидным целям. Сравнение Перикла с тираном, если даже отрешиться в этом суждении от окраски олигархического памфлета, будет все же крайне неточным, и притом вовсе не потому, что у Перикла не было особого лично его охраняющего войска, но главным образом в силу отсутствия какой бы то ни было аналогии между подарками Филаидов и Перикловой системой диет. Политика диет и общественных работ для неимущих рядом с налогами на имущих в виде устройства хоров и гимнасий и триер — наоборот, искоренила как из общественного сознания, так и из жизни самую возможность тиранических попыток, а меры Перикла, возникая на почве права и строгого контроля, были чужды всякой патриархальности.

Что сказать о точке зрения Белоха, который готов видеть в мерах Перикла деморализацию рабочего класса и считает, что надо было прежде всего наложить руку на корень зла — рабство⁴⁷. Я думаю, что историк,

⁴³ См. J. Beloch, a. a. o., I, 416.

⁴⁴ Thuc., II, 46 в знаменитой речи Перикла.

⁴⁵ Thuc., II, 13.

⁴⁶ Р. Виппер, ук. соч., 186; см. ссылки там же в примечаниях.

⁴⁷ a. a. o., I, 417.

проявивший себя такой здравостью суждения о том же Перикле в дальнейшем изложении своей истории⁴⁸, здесь увлекся теоретическим построением. Строгая логичность Перикловой системы ни в каком случае не должна нести ответственности за деморализацию, если таковая и точно произошла. Сила демократии и заключалась именно в том, что она освобождала сознание и раскрывала творческие силы граждан, нормируя их идеею взаимности и необходимостью самоограничения. В развитии свободного учрежд<ения> мы вправе видеть деморализацию лишь постольку, поскольку палка для нас спасает мораль. С другой стороны, упрек за сохранение в качестве одного из основ<аний> государственного социализма труда невольников отпадает сам собой. Да и как согласовать его даже с упреком в деморализации, если вспомнить, что первые голоса против принципа рабства раздались как раз из той освобожденной и охлократической среды, которая, и с точки зрения судей Перикла, должна нести ответственность за деморализацию народа. Эти голоса принадлежали ритору Алкидаманту⁴⁹ и *bête noire* Аристофана — Еврипиду. А как далек должен был быть этот принцип от непосредственного сознания демоса, которым и определялась деятельность Перикла в эту эпоху крайне несовершенного хозяйства и постоянных войн, если даже христианам, чтобы провести его в жизнь, понадобилось более восемнадцати веков.

Мне более нравится взгляд на демократию Перикла, высказанный когда-то Виламовицем: «Афинская демократия, — говорит он, — в том виде, как ее довершил Перикл, есть создание (*cingebilde*), слишком тонкое для человеческих рук и в силу этого пагубное для тех самых людей, которых она призывает к власти. Политика Перикла привела Элладу к уничтожению, но спрашивается: что могло бы оставаться прекрасным, не становясь слишком тонким для человека?»⁵⁰

Если теньям нужна наша благодарность, то она, конечно, принадлежит и Периклу; и не столько за Пропилеи и Парфенон и даже за Анакс<агора> и Геродота, как за осуществление идеи общественной службы во всей чистоте ее демократического величия и героизма.

Перикл был сыном Ксантиппа из Хосарга, победителя при Микале, и Агаристы из рода Алкмеонидов (племянницы великого Клизфена). Его политика в основе своей определялась именно происхождением его матери, так как он наследовал антиспартанские традиции Алкмеонидов. Но и в самую природу Перикла вошли, должно быть, из соков этой же встви

⁴⁸ а. а. о., I, 466.

⁴⁹ Arist. *Rhet.*, I, 13, 2.

⁵⁰ Wil<amowitz>. *Arist. u. Athen.* Berlin, 1893. II, 102.

и рационализм, и тонкость натуры прирожденного политика, а может быть, и та аристократическая обособленность жизни, которая давала себя чувствовать особенно по сравнению с общительным правом Кимона.

Был ли он гениальным стратегом? Этот вопрос вызывает другой — о его гениальности как политика. В Перикле было прежде всего изумительное и, кажется, никем в Элладе ни до, ни после него не превзойденное понимание той среды, в которой он действовал, и в этом лежала тайна и особенной силы его слова, и обаяния его личности, и, вероятно, даже его продолжительного счастья. Это был настоящий «предстоятель демоса». В нем не было ни фантастической идеи захвата, ни стремления к громкому подвигу; напротив, он в высшей мере осуществлял принцип демократического самоограничения. По предложению Перикла, после поражения афинского флота в дельте Нила, афиняне возвратили из ссылки старого Кимона, и Перикл скромно отступил перед Филаидом. Целым рядом ограничений Периклу удалось укрепить афинскую державу и, на полвека очистив Эгейское море от персов, добиться, чтобы Спарта признала равновесие силы в двух эллинских союзах. Если Периклу удалось достигнуть гордого перемирия хотя бы только на срок трех Олимпиад, это уже достаточно говорит о том почтении, которое он сумел внушить Элладе к силам афинского войска. Политик и стратег сказались в этом признании успеха и, пожалуй, лучше, чем они сказались бы в иной победе. Вспомним, что не мир, а война были в те годы нормой афинской жизни. И точно, разбросанность колониальной и торговой жизни нового морского государства и легкая возбудимость его плохо слившихся частей, слабость сухопутных сил Аттики, ее природная беззащитность, а особенно роковой все растущий разлад между городским и сельским ее населением — все эти обстоятельства делали мир афинской общины с соседями крайне непрочным и труднодостижимым.

В начале Пелопоннесской войны в Афинах было всего около 15 000 сухопутного войска. При крайнем напряжении сил эту цифру можно было повысить до 20 000, включая всех способных носить оружие, в том числе и граждан во флоте, метэков, ближайшие клерухии, наемников и отчасти союзников. Между тем одна Беотия могла выставить почти столько сил, а если взять Спарту с Аркадией, Элиду, Трезену, Гермियोу, Галиеи и Мегары, то цифра афинских противников могла достигнуть 60 тысяч человек⁵¹. При таком условии, особенно ввиду искусства спартанских гоппитов и слабости естественных преград, отделявших Аттику от соседей, ей нечего было и думать не только об эллинском единодержавии, но даже о

⁵¹ H. Delbrück. *Die Strategie des Perikles, erläutert durch die Strategie Friedrichs d<es> Gross<en>*. Berlin, 1890. S. 84 und 86.

первенстве среди греческих общин. Авторитет Афин мог приобретаться лишь морскими силами и богатством. Перикл отлично это понимал и потому как морская, так и финансовая политика его отличалась твердым характером.

Вот как характеризует Дельбрюк⁵² морскую политику Перикла. «Основной идеей Перикловой политики и стратегии было ее ограничение действиями на море: ради этого он уступал позиции на материке. Но лишь только дело касалось морского владычества, Перикл не только никогда не подавался назад, но, наоборот, он неизменно шел навстречу опасности, что, собственно говоря, и является признаком политического и стратегического мужества...»

Обстоятельства, среди которых приходилось действовать Периклу, не давали его стратегическим талантам проявиться с той яркостью и пластичностью, которая отличала подвиги Фемистокла и Кимона, но зато он выработал целую стратегическую программу, каковой у его предшественников не было вовсе. Распространение системы жеребьевых земель во Фракии, на Эвбее, на Скиросе и Наксосе, кроме цели постепенного объединения союзников с Афинами на почве общих учреждений, должно было освобождать столицу союза от пролетариата, а также хотя отчасти компенсировать для населения Аттики его плохие поля, которым к тому же рано или поздно — Перикл это знал — грозили периоды опустошения с юга. План Перикла заключался именно в том, чтобы, отвлекая врага разорением аттической территории, тем временем постоянно угрожать и вредить ему с моря. В этих водах на время войны, согласно программе Перикла, афиняне должны были не делать новых приобретений и не разобщать своих морских сил. На суше не полагалось доводить дело до сколько-нибудь серьезного столкновения, отдавая системе *измора* решительное предпочтение перед стратегией *натиска*. Совр<еменные> теоретики военного иск<усства> отдают должное этой мудрой политике: она объединяла отвагу там, где столкновение становилось неизбежным, с принципом экономии сил. Перикл понимал, что усилением материального могущества он не может уравновесить численной слабости афинских войск и что граждане для успеха их действий должны безусловно преобладать и в войне. Таково уж было общее условие жизни греческих общин.

Но все же морская политика великого Алкмеонида не могла внести успокоения в среду резко расколовшейся Аттики. Вполне защищенные поясами крепких стен, горожане Афин и Пирея жили соками той страны, которой приходилось жить лишь перспективой, казалось, вечного само-

⁵² а. а. о., S. 173.

отречения да славы афинского имени. Диэты были не для них: разве мог домохозяин бросить поле для диэты гелиаста. Что давали ему эти великолепные храмы, гимназии, театр, верфи, десятки тысяч наводнивших город индустриальных рабов, — он должен был, живя под вечным риском от набегов с севера и юга, платить ненавистному тунеядцу-горожанину комиссию по ввозу и вывозу, а иногда уступать ему и жеребьевый участок, который тот преспокойно отдавал в аренду, продолжая судить и ораторствовать на Пниксе. Чем более богатели и украшались города и чем более разгорались аппетиты горожан к приобретению новых рынков, тем тяжелее становилось положение сельской Аттики и тем богаче была та жатва ненависти, которую собирали в ней противники демократии. Перикл мог вносить ограничение и гармонию в колониальные дела, — дело это, по существу, касалось лишь населения Афин и Пирея. Союз знал не Аттику, а лишь ее столицу с пригородом. Аттические силы, которые ушли в свое время на создание союза в виде расхода на триеры и солдат, не возвращались союзниками аттическому населению. Союз был в сущности еще так непрочен, что нечего и думать было о мобилизации сухопутных союзнических сил в противовес целопоннесскому союзу, — эти копья могли обратиться на самого казначея, и главе новой державы приходилось скрепя сердце нести свой жребий малой, слабой и незащищенной, обреченной разорениям земли. А между тем афиняне любили свои оливковые рощи, это были в значительной своей части исконные и упорные земледельцы, садоводы, огородники и виноградари, и элевсинский культ аграрных божеств получил в эпоху Перикла, как бы в противовес пышности городских храмов и торжеств, тоже дорогостоящий и завидный для приезжего люда блеск.

Около 450 года Перикл без особого труда провел в народном собрании закон об ограничении прав на афинское гражданство: отныне оно принадлежало лишь детям от чисто афинских браков — мать родом из Сикиона или Милета, будь отцом хотя бы один из Алкмеонидов, могла произвести на свет лишь метэка: ее дети считались законными, но они были неравнорожденные — и о ф ы. Новый закон нельзя рассматривать вне связи с тем, которым определялась политическая роль державного демоса. Он логически вытекал из перенесения вопроса с чисто политической почвы на социальную. Допущение к участию судить и управлять и фактическое облегчение этого участия не было милостью, подарком, оно являлось правом, актом политической справедливости, и вследствие этого знаменатель дробн, которою определялись шансы и доля каждого гражданина, должен был быть нормирован законом. Обилие процессов, возникавших по поводу проверки гражданских прав, особенно в связи с экстренными раздачами, настоятельно требовало норми-

ровки прав на гражданство. Трудно сказать, поскольку ограничительный закон Перикла содействовал моральному кризису демократии, но во всяком случае нельзя ставить его на счет этому демагогу: постановление вызывалось логикой вещей, ростом и чувством самосохранения у самого демоса, а также тем обстоятельством, что Афины и Пирей, благодаря процессам союзников, широкому торговому обмену и особенно общественным работам, кишели пришлыми элементами. Разбросанность военных и тоговых предприятий, которыми непрестанно отвлекалось с места значительное число афинских граждан, обуславливала развитие смешанных браков, и в глаза демосу смотрело уже новое поколение, чуждое традициям Фемистокла и Клисфена. Обыкновенно Периклу ставят в пример именно этого последнего законодателя, что-де он умножал число полноправных граждан дарованием прав вольноотпущенным. Но времена за 60 лет отнюдь не дремотной жизни Афин настолько изменили физиономию самого города, что уроки прошлого не могли уже пойти впрок новым законодателям.

Очень может быть, что даже в отношении к авторитету среди союзников вопрос об афинском гражданстве настоятельно требовал нормирования. Союзники могли спрашивать себя, кто же он наконец, этот настойчивый сборщик денег и ответственный гегемон, этот державный демос, который уже не только борется с отпавшими от союза, но карает их как своих мятежных подданных, — если сегодня туда проникнет свой же брат ахеец, а завтра фракиец?

Перикла упрекают за то, что он не провидел будущего. Да, это был положительный ум, который и в законодательстве, как на войне, справедливо считался лишь с тем, что подлежит учету и проверке, т. е. с настоящим, и не метил ни в Калхасы, ни в Лампоны, чтобы прозревать будущее⁵³, и обвинять Перикла за результаты демократического самоограничения, которых к тому же нельзя учесть и в будущем, по-моему, столь же несообразно, как ставить в заслугу Фемистоклу, что под Саламином он имел дело с флотом Ксеркса, уже пострадавшим от Сениадской бури.

Во всяком случае, обращаясь к той среде, которая создала культурный блеск Афин эпохи Перикла, мы должны будем сознаться, что ее надо рассматривать вне всякого отношения к вопросу о правах афинского гражд-

⁵³ Превосходно характеризует его с этой стороны Виламовиц: «Er rechnet mit Ziffern des Schatzes, den Beständen der Arsenale und den Summen der Wehrpflichtigen lieber als mit den Imponderabilien der Volksgunst und Volksstimmung; er ist nicht Officier und nicht Finanzmann, nicht Volksredner und nicht Parteihaupt, oder auch er ist das alles, nämlich so weit es der Politiker, der Vertrauensmann des attischen Volkes sein musste».

данина. Ион и Гипподам, Анаксагор и Геродот, Протагор и Аспасия могли числиться среди метэков, союзников или вольноотпущенных, но это была для Афин соль земли и для нас их имена явятся неразрывно связанными с расцветом эллинской культуры. С другой стороны, что придала Софоклу его двукратная стратегия или Сократу то обстоятельство, что он был пританом во время Аргинутского процесса?

Величие Перикла заключалось именно в том, что своим авторитетом он дал возможность этим гражданам и негражданам приложить свои силы к культурной работе и создал в Афинах единственный в мире стадий гениальных начинаний⁵⁴ и ярких индивидуальностей. Нивелирующая работа демократических сил расцветивалась в Афинах оригинальными фигурами, которых вы напрасно стали бы искать среди стратегов в почтенной среде Миронидов и Толмидов.

Вот Гипподам из Милета. Длинная одежда им самим изобретенного покроя, широкая, простая и теплая, одна и та же зимой и летом, роскошная прическа; мысль, которая легко и свободно переходит от плана нового города и отчетов по подрядам к плану апелляционной инстанции, какая и не снилась еще тогда афинскому законодательству, утопия на почве огромных специальных знаний и без страха приложить ее на деле в Милете ли, в Афинах или в Фуриях — все равно — таков Гипподам⁵⁵.

Платон, в первых пяти главах своего «Государства», даст нам оригинальный силуэт старого метэка Кефала, выходца из Сиракуз. Сыновья его, Полемарх и Лисий, приводят к нему Сократа, с которым старик рад побеседовать несколько минут, которые остаются ему до жертвоприношения. Он сидит, увенчанный, на подушке. Гостям предлагают кресла. Сиракузцы живут в уютном домике в Пирес, и старик встречает гостя упрямом, что он так редко заглядывает в гавань: ему самому силы не позволяют уже ходить в вышний город. Беседа вращается среди отвлеченных вопросов — старость, любовь, справедливость, богатство, посмертность, — и метэк перемежает ее обрывками из воспоминаний и цитатами из Пиндара и Симонида, пока наконец не поручает гостей сыновьям, а сам идет во двор к алтарю.

⁵⁴ Зачеркнуто: «на зависть всей Эллад». — В. Г.

⁵⁵ О нем Arist. Polit., 2, 1267 b. См. также Baumcister. *Denkmäler d'es> kl<assischen> Alt<ertums zur Erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, Kunst und Sitte>*, 1 s. v. *Athenae*. Дальнейшая литература у Stauffer'a. *Zwölf Gestalten der Glanzzeit Athens <in Zusammenhänge der Kulturentwicklung>*. München und Leipzig, 1896. S. 139, 149, 578 f. Может быть, новая планировка Пирея относится ко времени ранее Перикла, но дата основания Фурий, колонии на месте Сибариса установлена — 443 г.

Я едва ли должен напоминать вам рядом с этим практическим философом, так сказать, профессионал<ьное> умозрение милетийца Анаксагора и Орфея из Абдер — знаменитого Протагора. Но именно перикловские Афины оконч<ательно> сформировали и выдвинули на первый план филафинея и, может быть, первого теоретика афинской демократии галикарнасца Геродота, впоследствии одного из учредителей западных Афин, Фурий. В 445 году Геродот уже читал отрывки своей истории на Панафинейх⁵⁶, и только Афины могли поднять этого восприимчивого ионийца, от природы лишь зоркого наблюдателя и неутомимого путешественника, на высоту эллинского историка.

Среди людей Периклова века были, конечно, и афинские граждане с очень громкими именами. Знаменитый скульптор-богодел, универсальный художник, гением которого отмечены фризы Парфенона и целый век артистических влияний, доходивших до Великой Греции, где он запечатлен на монетах и расписных вазах, Фидий стоял при Перикле во главе доверяемых им работ Кимоновой эпохи. Афинским гражданином был и Мэтон, астроном, который производил наблюдения в различных пунктах Эллады и связал свое имя с работами по вопросу об уравнивании солнечного и лунного года (он высчитал солнечный год с точностью до 30' 9"). На Пниксе им же установлены были солнечные часы.

В Афинах работали при Перикле и Софокл и Еврипид, и первый был в те годы уже прославленным трагиком⁵⁷; свою буд<ущую> роль мог уже намечать тогда и Фукидид, историк из афинской знати, родственник Кимона, родившийся около 460 г., и жадно учился философии сын скульптора Софрониска Сократ.

Несколько позже Перикла в обществе заблистали дипломаты: первый афинский богач Камия, в родстве с Периклом, представитель Афинской державы при персидском дворе, и птичник Пирлиамн, владелец настоящей диковинки того времени — павлинов, и стратег Менексен, Никия, сын Никерата, еще молодой.

Но все эти имена невольно вызывают в нашем уме другие, — выводящие нас из рамок афинского гражданства. Так, Метон в своих работах следовал за метэком Фанэном; ранее Фидия, который и сам в ранние годы не чужд был живописи, Афины украшал живописец из Фаса — Полигнот; за Софоклом стоит Ион из Хиоса, за Еврипидом Анаксагор и ионий-

⁵⁶ Plut. *Mor.*, 862; намек у Фук<идида>, I, 22.

⁵⁷ Современником Перикла был и основатель аттической комедии Кратин (первое представление — 450 год), тот самый, который зло высмеивал демагога и его подругу, а в первые годы Архидамовой войны уже выступает на сцену Аристофан, тогда еще юноша.

цы, сиракузец Эпихарм дал образец первому афинскому комику, Фукидида вдохновил галикарнасец Геродот, а Сократ называет себя учеником Аспасии из Милета и Диотимы из Мантиней.

Имя Аспасии до сих пор окружено легендой, так как единственное современное самой Аспасии известие дает о ней комедия. Около 50 года переехала она из Милета в Афины, может быть, привезенная туда своим земляком — Гипподамом, и в начале 40-х годов так увлекла Перикла, что он ради нее оставил законную мать своих сыновей и сделал Аспасию открыто своей второй женой⁵⁸.

В Афинах положение женщины в общем было стесненнее, чем на других пунктах греческой территории. Спартанская женщина воспитывалась наравне с мужчиной, что надо объяснить, конечно, физическим характером этого воспитания и заботой о поддержке сильной расы. Среди эолийцев еще в предыдущем веке были поэтессы. У афинян, напротив, долго держались чисто восточные взгляды на женщину, и еще в речи Перикла над павшими воинами мы читаем: «Не оказаться ниже данной вам природы — вот в чем ваша истинная слава. Лучше всех та женщина, о которой наименее говорят среди мужчин, в похвалу ли или в порицание». Периклу было в это время около 40 лет, и брак произошел, конечно, уже после того, как он внес известный законопроект об ограничении прав афинского гражданства. Аспасия привязала к себе демагога не одной внешностью, но и умом высокой культуры, умением ценить красоту слова и философские проблемы. Аспасия стала в центре кружка, где светские люди, художники, риторы и философы обменивались взглядами. Салонная жизнь Афин засвидетельствована нам для последних десятилетий V века диалогами Платона, но она должна была начаться раньше; собеседники «Пира» не могли не пройти школы изящного общения. Побор-

⁵⁸ Источниками наших сведений об Аспасии служат: «Экономик» Ксенофонта, «Менексен» (приписывается Платону) и Циперон (*de inventione*, I, 31 след.), основанный на диалоге Эхина-сократика «Аспасия». Против старого мнения, что Аспасия была не более, чем обыкновенная гетера, только с более или менее салонным лоском, выступил с целым исследованием Ad. Schmidt. *D. Perikl. Zeitalt.*, I, 288 ff. (1877). По старому пути, но со свойственной ему изящной парадоксальностью пошел Виламовец. *Ar. u. Athen*, II, 99³⁵. Он бросил замечание, что самое имя Аспасии есть почти профессиональная кличка, что недавно опровергнул с большим аппаратом Юдейх (новое изд. *Real-Encycl. Pauly-Wiss.*, II, 1716 ff. s. v.). Ed. Meyer также подверг вопрос, поднятый Виламовцем (см. J. M. Duncker. *Gesch. d. Alt.*, IX, 25), пересмотру, решая его в пользу Шмидта (*Forsch. z. alt. Gesch.* 2 Bd. S. 55 ff.). См. J. Stauffer, a. a. o., 576 f. Anhang и Ivo Bruns. *Die Frauenemancipation in Athen, ein Beitrag zur attischen Kulturgeschichte des fünften und vierten Jahrhunderts*. Vorträge u. Aufs. München, 1905. S. 178 ff.).

ники афинского просвещ⁵⁹ения> приводили к Аспасии даже жен (например стратег Менексен): афиняне были чутки ко всякой культурной силе, и в этот расцвет серьезного и убежденного рационализма освященные веками общественные грани уже перестали им казаться обязательными. Над ними еще не смеялись, но их уже обходили. Охотнее, чем женщины, учились и форм<ир>ов<ались> в обществе Аспасии молодые люди, как Сократ и, может быть, даже мальчики вроде Каллии и Ксенофонта⁵⁹.

Необычность, привлекая пытливого ум мыслителя, кажется обыкновенно подозрительной массе; и авторитетности Перикла, если не на Пниксе, то на улицах, несомненно, вредила его смелая связь: даже поклонники Перикла, вроде комика Евполида, не могли простить Олимпийцу его мыслящую Аспасию. Омфала, Деяпира, Гера — эти клички сменялись даже реально-бытовыми⁶⁰. Афинские комики, умы, живущие среди слухов и шаржей, сохранили нам даже намеки на причастность Аспасии планам Самосской и Пелопоннесской войны⁶¹.

И вот враги Перикла из ортодокс<ального> жречества и сторонники олигархии, в конце тридцатых годов еще не смея тронуть самого Перикла, выдвинули против Аспасии обвинение в «нечестии и сводничестве». Перикл был ее защитником, и речь его прерывалась слезами обиды и горечи⁶². Аспасию тогда оправдали, но через несколько лет сам Перикл стал жертвой своих политических противников. Правда, ему удалось и на этот раз восстановить себя в роли демагога, но уже ненадолго. Потеряв от чумы обоих детей от первого брака, и Ксантиппа и Парала, Перикл вымолил у народа узаконения своего сына от Аспасии. Меньше чем через год после этого чума унесла и Перикла, а Аспасия вышла замуж вторично за богатого овцевода Лисикла, через год тоже его похоронила, но Афин не покинула до конца жизни, так что здесь же ее и похоронили. Школа Сократа почтила память второй жены Перикла и создала мировую легенду Аспасии.

Я с намерением несколько долее остановился на Аспасии. Я вижу в этой женщине одно из звеньев между эпохой равновесия и гармонии и веком крайностей индивидуализма, между Афирами одного Алкмеонида и Афинами другого. Я не решаюсь видеть случайность в том, что сократики почтили именно женщину: ни Гипподам, ни Анаксагор не могли бы внести в общество столь действительного фермента. Даже софисты

⁵⁹ Юдейх (а. а. о.) считает это, впрочем, мало вероятным.

⁶⁰ πολλὰ καὶ κυνώπις (Kratin. Χείρωνες, frg. 241), и даже без гомеровского оттенка πόρνη (Εὐρ. Δῆμοι, frg. 98).

⁶¹ См. литературу у Юдейха а. а. о., 1720.

⁶² Plut. *Pericles*, 32.

действовали сначала лишь в ограниченном кругу, и влияние их ограничивалось сферой идей. Женщины интимнее входили в общество, через семью и нравы, и поэзия Аристофана недаром уделила женщинам такое видное место в общественной сатире. Но проводником новых взглядов на женщину еще ранее и с другой точки зрения явился Еврипид.

Вопрос о том, был ли Еврипид точно мисогинном, или образы Алькесты, Ифигении и Макарии должны спасти его от этого упрека, представляется мне не только едва ли разрешимым, но и довольно праздным⁶³. Гораздо важнее установить следующее положение: Еврипид зарождал в зрителях сомнение относительно нормальности положения женщины в окружающем их обществе. Если бы мы даже знали наверно, оправдывал или осуждал Еврипид мачеху Ипполита, это все же не подвинуло бы нас в решении вопроса о влиянии Еврипида на женский вопрос в Афинах. Психологическая нравственность, даже философские проблемы трагедии волнуют лишь избранных зрителей: их значение определяется будущим и мировой ролью пьесы. В массах современных драматургу зрителей находят отзвук лишь те элементы драмы, которые близки их обиходу или впечатлениям минуты: демократически воспитанные афиняне были чутки к социальной и политической стороне пьесы.

В страстной речи бичует Ипполит женщин гинеек, где показная скромность таит столько похотливости, суеверий и коварства. Я считаю излишним доискиваться непосредственной цели этих нападок поэта на одни из устоев афинской жизни, но, конечно, никто не увидит в этом поэтическом замысле стремления вызвать среди матросов и горшечников репрессий по отношению к их женам. В речи Ипполита слышатся принципиальные нападки. Что могут сделать, и в самом деле, эти «стражи» и что обеспечивается тайной гинеек с его своднями и сплетницами?

Дело не в Федре или ее мамушке, оно ближе, оно в тех, кто ждет возвращения зрителя из театра; поэт заставляет думать о Праксителях?, Агаристах и Манто, которых, может быть, завтра тоже, как дочь Пасифаи, вынут из постели. А за что?⁶⁴

Между тем есть же и другая жизнь. Положим, она чужестранка — эта Медея, и колдунья к тому ж; положим, род ее идет от самого яркого Солнца в волшебной Колхиде. Но послушайте только, как эта женщина честит аргонавта, — мало того, она сейчас ловко провела и коринфского

⁶³ Я готов присоединиться к мнению Ivo Bruns'a a. a. o., 163 f.: Wenn wir also die directen Urtheile sammeln wollen, die im 5. Jahrhundert über die Frauen laut geworden sind, müssen wir von Euripides absehen, denn wir kennen seine persönliche Ansicht nicht.

⁶⁴ Зачеркнуто: «Нужна другая жизнь, нужна вентиляция душливой спальни, впитавшей в себя жизненные соки целой половины». — В. Г.

царя... Постойте: а Эгей-то, с каким почтением он к ней относится... Пусть эта женщина глубоко несчастна, но по крайней мере она знает, отчего она несчастна... Виною муж, случайность брака. Как Медея выбирала себе мужа?..

Да между тех, кто дышит и кто мыслит,
Нас, женщин, нет несчастней. За мужей
Мы платим, и недешево. А купишь,
Так он тебе хозяин, а не раб,
И первого второс горе больше.
А главное — берешь ведь наобум:
Порочен он иль честен, как узнаешь.
А между тем уйдет — тебе ж позор,
И удалить супруга ты не смеешь.
И вот жене, вступая в новый мир,
Где чужды ей и нравы, и законы,
Приходится гадать, с каким она
Постель созданием делит. И завиден
Удел жены, коли супруг ярмо
Свое несет покорно. Смерть иначе.
Ведь муж, когда очаг ему постыл,
На стороне любовью сердце тешит,
У них друзья и сверстники, а нам
В глаза глядеть приходится постылым.
Но говорят, что за мужьями мы
Как за стеной, а им, мол, копья нужны.
Какая ложь! три раза под щитом
Охотней бы стояла, чем раз
Один родить...⁶⁵

В чем же главное-то горе женщин вообще? А вот в чем. Мы отлучаем их от образования и общественной жизни. О, если бы и женщины стали доступны музы.

Вот они — мечты женского хора: мужчины оказались коварными, теперь дурная молва об нас должна обратиться в похвалу, а следом наступят, пожалуй, и золотые времена:

Музы не будут мелодий венчать
Скорбью о женском коварстве,
Только бы с губ моих эту печать,
Только бы и женской цевнице звучать
В розовом Фебовом царстве...

⁶⁵ См. в первом томе этого издания «Медея» (начало первого действия).

О, для чего осудил Мусагет
 Песню нас слушать все ту же?
 В свитке скопилось за тысячи лет
 Мало ли правды о муже...⁶⁶

Я взял только два примера, и то бегло их коснувшись, но оба они заимствованы из сравнительно ранних пьес Еврипида (431 и 429 г.) и относятся к эпохе Перикла. Я не рискну, конечно, утверждать, что впечатления зрителей этих трагедий были именно таковы, какими кажутся они мне теперь. Но я думаю, что всем ясно, как глубоко входил Еврипид своим творчеством в самую чашу жизни, как настойчиво уводил он зрителей от мифов к этим бытовым сцеплениям, с которыми афиняне не могли не сравнивать своих собственных, только теперь для них ясных. Едва ли нам так важно крохоборствовать, вылавливая характерные словечки, уцелевшие среди отрывков погибшего репертуара, или ломать себе голову над тем: объясняется ли та или другая сентенция или ситуация экономией пьесы, или в ней надо видеть суждение Еврипида. Истинная личность драматурга мелькает среди противоречий, парадоксов, бурных сарказмов и глубокой меланхолии, но напрасно старались бы мы уложить его в какую-нибудь систему. Поэзия Еврипида будила, тревожила и дразнила мысли слушателей, и при этом особенно часто она заставляла их оглядываться на явления повседневной жизни их жен и дочерей, на их привычную обиду и законное бесправие, — в этом и была сила этой поэзии как несомненного социального фактора. Если признать, что развитие широких кругов населения идет не непосредственно через прививаемые к ним идеи, а путем медленного изменения нравов, то сцена как вторая идеализованная жизнь, и с этой стороны уж несомненная школа нравов, и должна иметь совершенно исключительное значение. К Еврипиду это применимо особенно, потому что его драма богата жизненными красками.

В 431 году афинский демос вступил в новую фазу жизни. Мир со Спартой оказался непрочным. Коринф, Мегара, Аргос, Фивы и сама Спарта боялись этого резкого и все еще крепнущего преобладания Афин на море. В игре были при этом не одни политические причины, но и чисто коммерческие интересы. Континентальных греков пугали, вероятно, и ожидаемые последствия от социальной разработки Клизфеновой конституции. Может быть, для отдельных греческих общин осторожная и солидная политика финансиста Перикла казалась даже опаснее, чем захватные планы Фемистокла, а Афины, открыто объявляющие себя «школой для

⁶⁶ Ibid. Первый музыкальный антракт, стр. 160 сл.

эллинов», грознее, чем быстрые и блестящие успехи Кимона. Афины были богаты, а силу золота научились теперь понимать и потребители черной похлебки. Персы-то, те давно уже знали искусство превращать осколки сплошных золотых горшков в наемные дружины и выгодные тракаты. Надо было подорвать и банк Афины-Паллады⁶⁷, и притом не только успешной выдачей авансов, но и понижением фондов богини среди союзников и ее биржевых контрагентов. Фукидид сохранил нам, конечно стилизованными, две драгоценные речи Перикла из первых лет Пелопоннесской войны. Первою из них⁶⁸ (в Керамике) историки обыкновенно пользуются для характеристики афинского демоса, и такое применение фукидидовских фраз в самом деле очень соблазнительно. Не надо только забывать о двойной позолоте, покрывшей основу речи: *фукидидовский* Перикл, поднимая несколько упавший дух своих сограждан, рисовал им блестящие перспективы излюбленного им гражданского строя. Мне хотелось бы здесь использовать и эту речь и вторую, главным образом, с точки зрения их непосредственной ценности, т. е. для характеристики того мирозерцания, которое отразило истинного Перикла как цвет, выросший на почве исторически подлинного демоса. Фукидиду к началу Пелопоннесской войны было уже около 30 лет (?), и он, может быть, прошел ту же школу, что и Перикл, собеседник Анаксагора.

Основная черта демократического мирозерцания — рационализм. Я бы не решился, однако, придавать этому слову в речи Перикла строго философское значение. Дело в том, что, должно быть, оратор касался не теории затмений или состава солнца, а материй, доступных ежедневному обсуждению на Пниксе, потому он хотя, конечно, говорил и свободно, но все же должен был быть и очень осторожен, особенно ввиду того, что недовольство против его планов становилось уже громким. Содержание речи было политическим, и это одно уже придает особую окраску рационализму оратора. Традиция произнесения хвалебных речей над жертвами гражданского долга кажется Периклу несколько устарелой⁶⁹, а самую речь он считает излишней и, может быть, даже опасной для их славы, но в следующей же главе оратор уравнивает свой выпад против старины, красноречиво изъясняя, чем именно афиняне обязаны предкам. Как рационалист, Перикл не медлит и на деталях фактов, тем более что здесь пришлось бы размежевывать историю и легенду: вместо летописи афинского могущества демагог сразу переходит к его философии⁷⁰. Когда вслед

⁶⁷ Метафора принадлежит с некоторыми видоизменениями Эдуарду Мейеру.

⁶⁸ Thuc., II, 35–46; вторая *ibid.*, с. 60–64.

⁶⁹ *Ibid.*, с. 35.

⁷⁰ *Ibid.*, с. 37 sqq.

за этим оратору приходится затронуть вопрос об играх и годовичных празднествах, он говорит и о них не как о традиционном учреждении и одном из религиозных основ Эллады, но с чисто утилитарной точки зрения: это «передышка мысли от трудов»⁷¹ и средство, чтобы «усладой спугнуть наседающее на человека горе»; потому-то демократия и заботится об играх в целях афинской славы.

В первой речи ничего не говорится ни о богах, ни о божественном: мысль оратора движется всецело в пределах человеческой энергии, почина и славы. Во второй, которую Перикл, еще стратег, произнес на созванном им собрании, с целью оправдаться и после того, как уже началась чума, а аттические поля были дважды выжжены Архидамом, — есть, правда, одно упоминание о божественном, точнее о судьбе (δαμόνια), по поводу того иррационального фактора войны, который никак не мог входить в расчеты демагога, т. е. чумы⁷². Очень характерно, однако, что именно во второй речи, среди разоренных и злых слушателей, демагог подчеркивает «конечность» той самой державы, которая, казалось бы, должна была в его словах, наоборот, иллюстрироваться в нечто особенно прочное и устойчивое⁷³.

Мы признали выше рационализм лишь одной из черт в характеристике миросозерцания. Не забудем, однако, что даже в тех случаях, когда рационализм отличает мысли лишь одного лица, а не целой общественной дружины, он оказывается обыкновенно⁷⁴ весьма сложным явлением, и в самой природе его мы открываем действие различных и неоднородных сил.

Наука уже открыла в эллинском рационализме черты, рано вошедшие в него из коммерческой деятельности ионийцев и афижан⁷⁴. Рационалистический склад мировоззрения объяснялся у афинян и самим ходом их истории и политики в пятом веке. Демосу приходилось постоянно балансировать между морской и сухопутной тактикой, искать равновесия между ролью скромного и чрезвычайно неудобно расположенного эллинского кантона и ролью мировой гавани и сильной морской державы, между традицией и финансовым расчетом. Лучшие силы населения

⁷¹ Ibid., с. 38: τῶν πόνων... ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ... ὅν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει.

⁷² Ibid., с. 64: φέρειν χρὴ τὰ τε δαίμονια ἀναγκαίως.

⁷³ Ibid., с. 64: «потому что все родится и для того, чтобы пойти на убыль (πάντα γὰρ πέφυκε καὶ ἐλασσοῦσθαι)», — заметьте рационалистическую окраску этой гномы.

⁷⁴ Nicht erst «der Vernunftmoral» ist der Kultus des Weltbürgerthums nachgefolgt, sondern längst vorher der Moral des Kaufmanns. Das Weltbürgerthum des oekonomischen Rationalismus ist also älter als dasjenige des «Weisen», wie es die Schule des Antisthenes formuliert hat» (Dr. Rob. Pöhlmann. *Sokrates und sein Volk*. München und Leipzig, 1899. S. 40 et passim).

поглощались именно политикой Пирея, — отсюда эта окраска духовной жизни афинян, которая объясняет нам и возникновение школы Анти-сфена: в основе принцип полезности — уже из него вытекают требования мужества, энергии, самопожертвования, и им, в свою очередь, определяется демократический строй, отношение к иностранцам, богам, другим эллинам, науке, красоте и даже смерти.

Мужество — оно не то, что у дорийцев. Принцип целесообразности изъят из подготовки воинов тяжкую аскезу спартанцев, «и мы, — говорит Перикл⁷⁵, — проводя дни свободно (ἀνεμένως — без крайнего напряжения сил), не менее охотно готовы померяться с такою же опасностью. Польза заключается прежде всего в упрощении и облегчении подготовки, которая не поглощает у афинян столько времени и душевных сил, как у их противников». Энергия, деятельность, — но без нее и афинянин не может не только сберечь державу, но даже быть свободным. Досуг (τὸ... ἄπρακτον) не сбережется иначе, как в одном строю (τεταγμένον) с предприимчивостью (μετὰ τοῦ δραστήριου), и не в державной общине полезно, а лишь в покорной быть рабом».

Перикл шел даже далее, он внушал демосу, что ему, в сущности, нет и возврата из той политики, которую он выбрал: полезность вырастала, таким образом, в неизбежность, только не роковую, как в трагедиях, а замалчивую, так как она сулила успех и располагала средствами, на которые только страх за чем-то все накидывает траурное покрывало.

«Не думайте, — говорил оратор, — что все дело только в свободе или рабстве, но вы можете также сделаться предметом ненависти для тех, чье обладание вы потеряете. Нет, вам не дано уже отступать от державной роли (ἢς οὐδ' ἐκστῆναι ἐτι ὑμῖν ἔστιν), пусть и находятся между вас люди, которые, испугавшись настоящего, готовы выдавать бездеятельность за добродетель. Ваша власть как тирания, — захватывать ее кажется несправедливым, но от нее освободиться прямо-таки опасно»⁷⁶.

«Самопожертвование — оно не только благородно и прекрасно, прежде всего оно вызывается расчетом»⁷⁷.

«Нет царя, нет и народа из тех, которые живут в наше время, чтобы могли преградить путь нашему флоту при наличном его снаряжении (τῇ ὑπαρχούσῃ παρασκευῇ τοῦ ναυτικοῦ). Вот в чем наша сила, а вовсе не в тех жилищах и возделанных полях, потерю которых вы склонны преувеличивать: право же, это все равно, что сердиться, лишившись какого-нибудь садишки или драгоценной безделушки, — всем этим приличнее

⁷⁵ Th<ucydides>, с. 39.

⁷⁶ Th<ucydides>, с. 63.

⁷⁷ Th<ucydides>, с. 62.

пренебречь, потому что свобода, если мы спасем ее, с легкостью вернет нам потерянное достояние, и наоборот, у тех, которые покорились, обыкновенно быстро идут на убыль и прежние их экономии».

Вот как изображает оратор, с чисто утилитарной стороны, самую демократию и ее влияние на афинские нравы⁷⁸. «Она наша, — т. е. она выросла из сознанных нами потребностей нашего политического существования. Пусть подражают ей другие, нам-то, во всяком случае, реже приходится прибегать к подражанию. Власть у нас отходит не к немногим, а к большинству (ἐς πλείονας) — отсюда и название: народовластие (δημοκρατία). В частных несогласиях у нас для всех один закон, и уважение следует в Афинах только отличию, причем оно измеряется не классовым положением человека, а лишь его достоинствами (ἀπ' ἀρετῆς); при этом ни бедность, ни темнота не становятся преградой в этих случаях между афинянином и общиной, когда он может оказать ей услугу».

«Мы свободны не только в политической жизни, но и в ежедневных сношениях друг с другом, и если мой сосед (τὸν πῆλας) живет в свое удовольствие, я не только не мечу против него молний, я не обращаю к нему даже сурового лица, потому что, хотя и безобидное <само> по себе, оно огорчает уже самым вашим видом. Если мы не омрачаем нашей частной жизни излишней суровостью, то, с другой стороны, страх не позволяет нам преступить законов государства. Мы послушны представителям власти и блюдем законы, особенно же все те, которые основаны на блюдении пользы угнетаемых, а также все те неписанные, которые, по общему (молчаливому) согласию, нельзя нарушать, не навлекая на себя позора».

Отношение к другим эллинам определяется у Фукидида тоже принципом строгой утилитарности. «Полезнее обязывать других, чем быть им обязанным, и мы, афиняне, охотнее становимся друзьями в силу оказанных, чем в силу принятых услуг, — читаем мы в первой речи⁷⁹. — Вообще оказавший милость чувствует себя прочнее⁸⁰ в благорасположении своего должника, он бережет как бы отложенные им деньги. Должник, наоборот, живет спустя рукава (ἀμβλύτερος), потому что отлично знает, что его доблесть пойдет лишь на погашение старого долга, не суля ему ответной милости в будущем».

Но дальше идет фраза, которая, по-видимому, говорит против утилитарного принципа. «Одни мы, — говорит Перикл, — еще способны оказывать услугу людям не более из соображений о пользе, чем в интересах

⁷⁸ Th<ucydides>, с. 37.

⁷⁹ Th<ucydides>, с. 40.

⁸⁰ Зачеркнуто: «надежнее». — В. Г.

свободы, смело, из одного лишь благородного доверия»⁸¹. Утилитарный принцип отнюдь не требует, однако, корыстных расчетов — ему не чужды и благороднейшие побуждения, и только в этом смысле мы даже можем и поставить его в связь с идеалами афинской демократии. Между тем утилитарность явно сквозит здесь в словах λογισμός ἐλευθερίας, т. е. «соображения освободительного характера». Все дело в том, что к помощи другим подвигает афинян не их повышенная чувствительность (μαλακία), не религиозный закон, а лишь рассуждение о пользе, хотя и высшего порядка. Замечу также, что не только слово λογισμός, но и слова πιστόν — доверие и ἀδεῶς — смело (может значить и *без гарантии*) держат нашу мысль в сфере понятий делового, в частности финансового мира.

О богах в речах Перикла нет, собственно, ни слова, но характерно одно выражение, которое определяет нормальные отношения афинян к тому, что от них не зависит (τὰ δαιμόνια): «Надо переносить, — говорит он, — то, что от судьбы — как неизбежное (ἀναγκαιώς), а то, что от врагов, — мужественно»⁸². Здесь, во-первых, действия богов сопоставляются с вражескими (τὰ τε... τὰ τε), во-вторых, от этих действий отнят всякий моральный характер: этические критерии усваются Периклом, по-видимому, отнюдь не той силе, которая раздает удачи и удары, — оттого отношение людей к этой силе и является безразличным и лишь строго формальным.

Иностранцы полезны для Афин, и община не прибегает периодически к их изгнаниям, как Спарта. Они в Афинах на общем положении: «От них не скрываются наши зрелища, ни то, чему они могли бы научиться (μαθήματα)»⁸³. Военных приготовлений в Афинах тоже никто не держит в тайне, и, по-видимому, демократия находит такой образ действия для себя полезным. Тем более что молва разносит по миру не только славу афинских арсеналов, но и страх перед афинским флотом. Ничто в действительности, что лучше самой жизни в Афинах, не выяснит, с точки зрения оратора, главной основы военного могущества Афин: только ежедневный опыт среди деятельных Афин может заставить иностранца поверить τῷ ἅφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ.

Отношение демократии к наукам и искусствам определяется у Фукидида классической фразой φιλοκαλοῦμεν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας⁸⁴, т. е. у нас можно быть любителем пре-

⁸¹ καὶ μόνοι οὐ τοῦ ὑμπερόντος μάλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευθερίας, τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινα ὀφελοῦμεν.

⁸² Th<ucydides>, с. 64.

⁸³ Thuc<ucydides>, с. 39.

⁸⁴ Thuc<ucydides>, начало 40 гл.

красного, соблюдая экономию, и заниматься философией, не впадая в изнеженность (ионийцев, которые ее создали). Утилитарность этой максимы слишком очевидна, чтобы ее надо было подробно объяснять. Но интересно, что даже из смерти и похорон Перикл делает поучительный и притом довольно сложный урок. Сущность его такова: *смерть была полезна людям, которых мы сегодня хороним*, полезна если не им, то их именам.

«1. Между эллинами немного таких, как эти, у которых слава вполне уравнивала их деяния. Мне кажется, говорит Перикл, что катастрофа осветила их доблесть, начав с ее возвещения и завершив ее утверждением (памятником)⁸⁵.

2. Смерть загладила все их вины, и если некоторые из них, может быть, погрешили против своего достоинства, то отечество будет помнить только об их мужестве, запечатленном этой могилой.

3. Самая смерть была для них легка, так как в их глазах надежда разрушала шансы поражения.

4. Смерть была для этих людей даже быстрее, чем в обыденных случаях. Они были застигнуты судьбой, причем на это пошел самый малый промежуток времени да еще в разгар мыслей о славе, а вовсе не страха».

Этот анализ мирозерцания, выросшего на почве демократических учреждений, но принадлежащего одной из благородных и высококультурных (Перикла или Фукидида) индивидуальностей, обнаруживает прежде всего его стройность. Было бы ошибкой, однако, относить эту стройность на долю самого демоса. Напротив, чем более поражаемся мы гармонией идеализованного портрета, писанного с афинского демоса, тем живее представляется нам и та пропасть, которая должна была отделять личность от массы и судьба которой была расти, несмотря на все попытки перекинуть мост между двумя берегами.

Философское развитие, которое, как мы видели, поощрялось в Атике самыми условиями ее жизни и историй, фатально влекло теоретика от жизни, а разорение не могло <не?> вернуть афинянина к простоте той жизни, когда еще не знали ни денежных комбинаций, ни даже монет; наконец, государственный социализм даже у чуткого и осторожного Перикла проявлял уже свои невыгодные для развития общественного сознания стороны. Государственная машина усложнялась и становилась все дороже, и исономия терпела ущерб от неизбежного доктринерства парламентариев. Законодатели обострили социальный вопрос, и притом без надежды когда-нибудь его решить, между тем начавшаяся война тасовала бедных и богатых и слишком обездоливала поле перед городом. Убыль в гражданах, в свою очередь, делала чувствительнее бесправие

⁸⁵ Th<ucydides>, 42; вся глава посвящена уроку, из нее же и следующие цитаты.

метэков и союзников. Но если, таким образом, нельзя искать в сознании демоса риторической гармонии, созданной Фукидидом, то портрет все же остается весьма схожим в основных чертах. Только взглядевшись в эти черты, вы заметите в них предсказание политической непрочности. Это было, чтобы еще раз вспомнить слова Виламовица, ein Gebilde zu fein für die Menschen.

<IV>⁸⁶

Мы все время занимались лишь одним противником. Но каков же был другой?

Спарта к началу Пелопоннесской войны была сильной, и исключительно законами, военно-аристократической общиной архаического склада⁸⁷. Народец в 2 тысячи человек силою железной дисциплины держал в повиновении частью свободное, частью бесправное и крепостное население долины Европы, превосходившее его в 24 раза. В прошлом у Спарты была славная традиция и высокая культура. Традиция была связана с именем Ликурга и определяла собою, главным образом, воспитание спартанцев, в основе которой (традиции. — В. Г.) лежал дорический идеал мужества и презрения к смерти. Культура Спарты восходит к двадцатым Олимпиадам и соединяется с представлением о развитии в этой общине музыки и благородного стиля хоровой лирики. Имя Терпандра, которому приписывается изобретение гентахорда и лирической номы, теряется в первой, еще глубокой старине⁸⁸. В первой половине седьмого века Спарту украшал Тиртей — поэт и музыкант; он сочинял политические элегии и маршевые анапесты и был, по преданию, первым из поэтов, которые сознали силу дорического склада жизни ликурговой Спарты⁸⁹. Говорят, что он был выходцем из Афин, но вся его поэтическая деятельность принадлежала Спарте: его песнями облагораживались столь различные проявления общественной жизни, как битвы и симпосии.

Несколько прежде Тиртея процвел в Спарте и Алкман: его мирная и ясного колорита лирика соответствует периоду культурного расцвета Спарты после удаchi Мессенских войн. Это был изумительно гибкий лирический талант, и блеск шутки и юмора уживался у него с проявл<е-

⁸⁶ Тут начинается новая авторская пагинация листов. — В. Г.

⁸⁷ См. об этом Her., I, 65–67; VI, 52–60. Ср. Р. Виппера, указ. соч., стр. 159 сл.

⁸⁸ См. G. Bernhardt-Volkmann³. 1892. I, 367 ff., где вся литература; ср. также Th. Bergk. *Gr<iechische> Lit<eratur> g<eschichte>*, II, S. 208 ff

⁸⁹ G. Bernh.-Volkm.³, S. 398.

ниями> возвыш<енного> религиозн<ого> пафоса. Алкман был спартиад по рождению, и то обстоятельство, что его поэзия долго жила в устах благодарных спартанских женщин и девушек, которых воспевал он с особо почтительной любовью, показывает, что спартанская община не имела еще в половине VII века того замкнутого и сурового характера, который бы делал ее правы чуждыми психологии периека⁹⁰.

Спарта была и одним из первых центров не только кифаристики, но и авлетики. Флейта получила там широкое применение в гимназиях, хороводах, на пирах, и флейтист же вел спартапцев и в сражение. Музыка и лирика спартапцев, а также этика общественного воспитания — все начала благородного доризма переходили из Пелопоннеса в Афины, и еще в V веке и Кимон и Перикл выходят из школы⁹¹, которая по своему дорическому характеру стоит ближе к Спарте, чем к ионийскому просвещению.

Даже в надгробной речи Перикла можно отметить, помимо различия между аттической и спартанской культурой, которое демагог как бы старается подчеркнуть, черты не только родственные, но, несомненно, принадлежащие самой идее доризма; таковы: уважение к неписаным законам (ἅσοι ἄγραφοι) и принцип поглощения личности общиной.

Тем не менее народная психология обоих племен сильно разнится одна от другой, и при этом различие определяется не тем, что Спарта рано установилась в развитии общественных форм, а, кажется, более глубокими причинами. Особенно характерна разница в отношении к военному делу. Для спартапца война была целью и битва праздником, на которую он шел под музыку, в пурпуре, расчесав и умастив свои длинные волосы. Вся жизнь спартапца была подготовкой к войне и залогом ее успеха. Для войны его рождали, кормили, женили; для войны воспитывали и тренировали не только его, но и его мать, сестру, дочь — будущих матерей спартапцев. Но совсем не так смотрел на войну афинянин. Это был прирожденный купец и вчерашний пират, война была для него лишь целью добычи и жирного мира, воспетого Еврипидом и Аристофаном, мира, с его городской суетой, иностранцами, зрелищами, цырюльнями и философией.

К началу Пелопоннесской войны Спарта представляла собой еще довольно крепко сколоченную организацию, но в ней было уже несколько беспокойных ран. Положим, фаланга гоплитов не знала еще себе равной ни в Элладе, ни на Востоке, но конница и флот были уже слабее <прзб.>.

⁹⁰ Литература об Алкмане вся приведена в превосходной статье Крузиуса: *Pauly-Wiss. Real-Enc.* N. B. I, 156 ff.; cf. v. Wilamow.-Moellend. *Eurip. Herakl.*, I, 71 f.

⁹¹ Не буквально, конечно. (Примечание Анненского. — В. Г.)

Ограниченность числа спартиатов по сравнению с числом периэков и гелотов заставляла их держать Мессению и Лаконику все время на военном положении, разорительном и тяжелом. Этими двумя обстоятельствами задерживалось и широкое колониальное развитие Спарты. Сильно грубели и нравы. Жизнь гелотов, со стороны которых можно было бояться восстаний, отдавалась в руки не только областного начальства, но даже спартанской молодежи, которую периодически отряжали эфоры в разные пункты страны, чтобы следить за поведением и надежностью населения. К чему же сводился при этой охоте<?> дорический идеал, зачем было учиться гимнастике, петь Тиртея и беречь пурпурную одежду? Не менее тяжело отзывался на Спарте и исконный раздор между царями и эфорами. Цари еще с восьмидесятых годов пятого века стали казаться спартанской общине не особенно надежными, и против них силою вещей выдвигалось, забирая в свои руки власть, своеобразное учреждение выборных олигархов — эфорат, комиссия из пяти чиновников. Действ<ительно>, спартанские цари происходили обыкновенно из богатых фамилий и имели богатое и знатное родство — войско, неразрывное с самой общиной и сосредоточенное в их руках, — все это создавало, несмотря на принцип дуализма, силу, столь опасную для всякой конституции, что закономерное ограничение ее было совершенно необходимо. Мы не знаем только, отчего не развилась ни герусия, ни апелла, но, по видимому, эфорат был наиболее подвижной и жизнеспособной из форм спартанской конституции. Причины усиления эфората, который мало-помалу сосредоточил в своих руках всю внешнюю политику и верховный контроль над соблюдением интересов Спарты в Месс<ении> и Лаконике, несколько уяснятся следующими фактами. Еще Клеомен, вскоре после первого нашествия персов на Элладу, делает попытку учредить единовластие и умирает в тюрьме⁹². Меньше чем через 20 лет после этого знаменитый Павсаний, эллинский гегемон, в битве под Платеями входит в тайные сношения с гелотами, и хотя и по другому поводу, но осужден эфорами на голодную смерть в храме меднозданной Афины (470)⁹³. Через год после него уходит в изгнание и его сопрестольник Леотихид, по обвинению в мезизме⁹⁴. Правда, цари затихают после этого на целых два века⁹⁵, но слухи о подкунах встречаются и позже, даже в двадцатых годах пятого века⁹⁶.

⁹² Her., VI, 61–75.

⁹³ Thuc., I, 128–134.

⁹⁴ Her., VI, 72.

⁹⁵ Bel<och>. Gr. Gesch., I, 456.

⁹⁶ Thuc., V, 16; о Плейстоанакте, одном из авторов Никиева мира.

В 429 году от какой-то изнурительной болезни, перешедшей в чуму, умер Перикл⁹⁸. Аттика в это время лежала опустошенной и выжженной, <нрзб.>, в городе — там уже два раза больше чем по месяцу гостил Архидам — кое-как ютилось сельское население, размещенное по храмам и площадям, заливая бедные кварталы; чума еще свирепствовала, а казна была уже почти опустошена расплатами по постройкам, осадой Потидеи и первыми годами войны.

Политическая жизнь Афин определялась в это время обостренными различиями в интересах и тенденциях населения. Над Афинами не тяготела более традиционная монархия Перикла. Зато теперь и в булех и на Пниксе с каждым годом все большую власть забирали демагоги новой формации — риторы — радикальные представители сильного и активного большинства. С другой стороны, литература, которая в лучших своих представителях, по меткому выражению Тейффеля, всегда идет с меньшинством, захватила сцену, противопоставляя ежедневности и грубой силе демоса праздник и обаяние харит. В лице самых ярких и отзывчивых к современности из тогдашних писателей, Еврипида и Аристофана, эта литература, с одной стороны, подвергала тонкой юмористической оценке «среднего человека», безоглядную резкость «политики дия», с другой, — она звала умы к бесстрашному анализу самих устоев жизни. В самом обществе, независимо от его вожаков и глашатаев, обнаруживалась немалая пестрота. На одной стороне стояли демократические элементы. Здесь, кроме радикального элемента корабельной черни, поставлявшей кадры для гелиеи и триер, кроме скорняков, лодочников и арсенальных рабочих, к которым пристегивались и метэки со своими главарями, были и родовитые люди Периклова круга, насчитывавшие среди своих предков союзников Клизфена. Традиции этих Евпатридов были известны демосу, и они-то по преимуществу и попадали в стратеги, а также отправляли те финансовые или дипломатические должности, которые в силу молчаливого соглашения предоставлялись тогда в Афинах лишь родовитым или богатым людям. Не разделяя радикальных крайностей демагогов, эти потомки родовой знати определенно шли и против олигархов. Вместе с более широким кругом населения они составляли партию тех *μεσοὶ ἄνδρες*, которых так высоко ставил Еврипид, иногда придавая им, однако, согласно собственному идеалу, идиллически созерцательный ха-

⁹⁷ Тут начинается новая авторская пагинация листов. — В. Г.

⁹⁸ *Plut. Per.*, 38; *Thuc.*, II, 51.

рактер⁹⁹. В истории Пелопоннесских войн есть один эпизод, в котором верх одержал против демагога именно центр, победила не столь активная, как радикалы, но все же жизненная партия традиционной и умеренной демократии. Это было уже после смерти Перикла. Весной 428 года Архидам опять явился опустошать Аттику, причем афинская кавалерия, хотя она действовала довольно усердно, все же должна была ограничиться защитой городских предместий¹⁰⁰. Между тем от союза отпал весь Лесбос, кроме Мефимны. Во главе восстания стояла Митилена. На Пелопоннес в июле повстанцами отправлена была депутация, и по окончании Олимпийских игр в Элиде она была выслушана спартанцами и союзниками. Митиленцев решено было принять в Пелопоннесский союз. Несколько позже афиняне послали против Митилены тысячу гоппитов под начальством Пахста. Как на грех, казна была к т<ому> времени уже пуста, и афинянам пришлось наспех прибегнуть к обложению афинских граждан суммою в 200 талантов. Кроме того, они послали Лисикла за данью и к союзникам. Эта экспедиция кончилась, однако, плачевно. Карийцы ограбили казначейские корабли, и муж Аспасии погиб почти со всей своей армией. Пелопоннес в феврале отрядил в осажд<енную> Пахет<ом> Митилену вестника с обещанием посылки 40 триер. Весной, действительно, к Лесбосу было отправлено целых 42 корабля Пелопоннесского союза с Алкидой во главе, сами же спартанцы с Клеоменом принялись за особо яростное на этот раз опустошение Аттики. Флот, посланный на Лесбос, однако, запоздал, и митиленцы, под давлением местного демоса, плохо склоненного к восстанию, вступили в переговоры с Пахетом. Условия афинского стратега были суровы — митиленцы сдавались на полную волю афинского народа; наиболее напуганные союзники лакедемонян уселись было у алтарей, но Пахет велел выгнать их оттуда и отослал заложниками на Тенедос, впредь до решения, которое ожидалось с Пникса.

Тем временем слухи о сдаче Митилены дошли и до запоздавшего флота Алкиды, когда тот находился уже около Делоса. Пошли переговоры о том, что же делать дальше. Элеец Тентиапл убеждал воспользоваться беспорядком, в котором бывают обыкновенно города тотчас вслед за сдачей, и захватить Митилену; ионийцы, со своей стороны, рекомендовали занять Кумы или какой-нибудь город в Ионии и поднять восстание среди афинских союзников, но гегемон Алкида предпочел просто-напросто вернуться к Пелопоннесу. По пути, близ Клара, ему повстречались и госу-

⁹⁹ См. в этом томе. В *Suppl.*, 244, он говорит о целом сословии, хотя и не специально: [прзб.] τριῶν δὲ μορφῶν ἡ ἐν μέσῳ σώζει(ς) πόλεις.

¹⁰⁰ Thus., III, 1 и далее.

дарственные триеры афинян «Саламиния» и «Парал». Эти суда посылались обыкновенно лишь с серьезными официальными поручениями, причем на «Саламинии» лежала обязанность доставлять на суд стратегов, против которых в Афинах возникали в их отсутствие серьезные обвинения, а «Парал» предназначался для депутатов, отряжаемых с какой-нибудь религиозной целью. Прибыв на Лесбос, «Саламиния» и «Парал» известили Пахета о пелопоннессцах, но преследовать Алкиду было уже поздно, он спешно держал курс в открытое море и порешил не останавливаться ранее, чем будет в водах Пелопоннесса. Между тем Пахет отправил в Афины спартанского вестника Салефа и заложников Тенедоса, и в Афинах тот же час казнили спартанца, несмотря на все заманчивые обещания, которые он делал от имени Спарты. Возбуждение афинян было так велико, что оно не замедлило выразиться в жестоким решении, предложенном партией радикальных демократов. Кожевник Клеон, сын Клеонета, демагог страстной воли и грубого, хотя меткого и убедительно сильного слова, играл в это время, безусловно, первенствующую роль и на Пниксе и в Совете 500. Его окружали главари метэков и сильная партия непримиримых. Редко кто отваживался даже выступать в серьезных случаях против этого убежденного человека, сила которого заключалась именно в том, что он действовал не как стратег-автократор, а как один из массы, как сама масса, с ее страстной резкостью и сознанием свободы, только что отвоєванной ею от благожелательной опеки.

Момент был, однако, на этот раз совсем особенный. Клеон использовал общее недовольство и бурным натиском вырвал у собрания приговор, который должен был покрыть Афины неизгладимым позором. К Пахету отрядили триеру тотчас же и со следующим декретом: казнить всех взрослых митиленцев, а жен и детей продать в рабство. Между тем за ночь афиняне опомнились. Опомнился кто? Средние люди — не олигархи, не тайные поборники спартанского режима, тем было все равно: чем хуже, тем лучше, а демократы старой марки, люди, которые еще жили идеалами Перикла. Экклесия собралась снова. Вот вкратце две речи: одна Клеона, отстаивавшего вчерашнее решение, другая Дидота, который стоял за его отмену. Речь Клеона¹⁰¹ интересна как *profession de foi* демократии в ее новой фазе, и ее можно сопоставить в этом отношении с надгробной речью Перикла. В ней нет, конечно, и тени той осторожности и тонкого анализа положений, к которым так долго приучал своих слушателей Перикл; снисходительный рационализм просвещенного руководителя — Перикла сменился у Клеона призывом к ординарной¹⁰² дис-

¹⁰¹ Thuc., III, 37–40.

¹⁰² Зачеркнуто: «безответственной». — В. Г.

циплине — масса должна идти за тем, кто ей по плечу и кто не поднимается над ней ни особыми талантами, ни тем менее самонадеянностью ἀμαθία μετὰ σωφροσύνης — вот новый лозунг афинской демократии, может быть, даже ее настоящий лозунг.

Клеон — самый решительный враг фразы. «Вы сами, — бросает он собранию, — виноваты во всем. Зачем вы так любите устраивать эти состязания, которые вас когда-нибудь погубят, потому что, благодаря им, вы привыкли быть зрителями речей и слушателями деяний. Красивые фразы для вас всё, как будто там заключены уже и будущие события; факты должны пройти для вас непременно через прекрасные слова, и в этом виде они кажутся вам убедительнее даже, чем если бы вы сами были их очевидцами. Лучше же всего можно взять вас новизной речи (μετὰ καινότητος λόγου) и нежеланием следовать за принятыми решениями. Вы рабы вечной смены необычного необычным (δοῦλοι... τῶν αἰεὶ ἀτόπων) и презираете все ординарное».

Переходя к характеристике митиленцев, Клеон не ограничивается, однако, метанием молний против вероломства изменивших союзников. Вину и здесь надо искать в самих афиэянах, которые избаловали Митилену. Дерзость митиленцев в сущности вполне понятна: всякому человеку свойственно презирать ласкающих и восхищаться неподатливостью (τὸ μὲν θεραπεῖον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον θαυμάζειν). Клеон еще раз требовал у сограждан наказания *всех* поголовно. Более мягкие меры надо сберечь на долю тех, которые могут еще отпасть от союза, принужденные к тому его врагами. В конце речи Клеон подчеркивает три порока афиэяна, которые грозят оказаться роковыми для их господства: жалость, любовь к фразам и деликатничанье (ἐλεεινεία)¹⁰³. В предостережение Клеон дает согражданам своеобразный совет держаться «мыслью как можно ближе к тому, что они потерпели и не давать времени себя разнежить».

Соперник Клеона, Диодот, начинает с осторожных выпадов против «поспешности и гнева». Он становится на точку зрения доброго гражданина, который не терроризирует своих парламентских противников, <а>, наоборот, старается побивать их на их же почве¹⁰⁴.

Диодот тоже недоволен согражданами. «Наша община, может быть, единственная, которой вследствие подозрительности граждан нельзя служить открыто, не обманывая ее. Если человек хочет быть полезен без околичностей, в афинском народе тотчас является сомнение, не следует ли он при этом тайно какой-нибудь личной выгоде зла¹⁰⁵. Если не прида-

¹⁰³ Thuc., III, 40.

¹⁰⁴ Ibid., 42.

¹⁰⁵ Ibid., 43.

вать никакой цены быстрому раскаянию отпавшего союзника, то Афины рискуют в других подобных случаях получать после осады город вконец истощенным, без возможности взыскать с него не только военную контрибуцию, но в ближайшем будущем даже обычные взносы. А между тем разве не в этой дани наша главная сила? — спрашивает Диодот. — Итак, — прибавляет он, — вспомним, что власть охраняется не столько строгостью законов, как неутомимой деятельностью ее агентов».

Всего важнее была последняя часть речи Диодота¹⁰⁶: афиняне своим поспешным приговором, в сущности, только оказали услугу противникам демократии. Народ в Митиленах был на стороне Афин, мало того, он выдал олигархов и сам открыл ворота города афинскому стратегу, а вывяжете его в один узел с истинными виновниками отпадения. После этого стоит олигархам поднять восстание, и народ уж ни за что не выдаст их. Демосы других городов увидят, что ваши благодетели дождались той же казни, которой они просили для врагов афинского имени. Поэтому, даже если бы митиленский демос и точно оказался нашим врагом, это правильнее было скрывать, так как крайне нецелесообразно поднимать против себя единственный класс, по существу, нам благоприятствующий. Диодот закончил, советуя афинянам пререшить дело в том смысле, чтобы ограничиться казнью тех митиленцев, которых прислал в Афины сам Пахет. После жарких дебатов его линия одержала верх, хотя и незначительным большинством. И вот афиняне спешно снаряжают вторую триеру. Депутаты Митилены¹⁰⁷ (не тенедосские заложники, очевидно) обильно снабжают ее вином и мукой, обещая экипажу щедрое вознаграждение в случае, если новая триера перегонит вчерашнюю, хотя та и опередила ее на целые сутки пути. Второй вердикт поспел как раз в последнюю минуту, и то потому, что экипаж первой триеры, не зная, с какой он послан вестью, по-видимому, не торопился¹⁰⁸. Наказание Митилены было все же тяжкое; казнили более тысячи повстанцев, обвиненных Пахетом, и отобрали у города весь флот. Кроме того, Лесбос, кроме земель Мефимны, был поделен на 3000 участков и роздан афинянам, причем лесбосцы обратились в афинских фермеров, с платой по 25 рублей в год¹⁰⁹ аренды на один жребий.

Я нарочно более остановился на этом эпизоде, чтобы показать, как тяжело и невыгодно было в Афинах положение партии центра в смутные годы Пелопоннесской войны.

¹⁰⁶ Ibid., 47.

¹⁰⁷ Ibid., 49.

¹⁰⁸ Ibid., 49.

¹⁰⁹ Ibid., 50. По теперешней ценности несравненно больше рублей, конечно.

Противников демократии в Афинах было много, но, конечно, приходилось более агитировать, чем высказываться (помимо анонимного памфлета и комедии)¹¹⁰. Встречались они и среди знати, они шли от того Исагоры и его приспых, которые за 80 лет до этого времени сделали попытку, при помощи Спарты, опрокинуть конституцию Клисфена¹¹¹. По большей части это были богатые и своекорыстные люди, для которых демократический строй Афин и война были прежде всего невыгодны¹¹². Но рядом встречались и потомки разоренных фамилий: эти злобствовали против конституции, питая тайную надежду с олигархическим переворотом поправить свои дела¹¹³. У Еврипида Амфитрион, рассказывая сыну о силах, которыми располагает узурпатор, занявший его место, говорит именно о таких людях. «На стороне тирана сколько угодно таких призрачных богачей; грабя соседей, они разорили город, а собственное их имущество уходит неизвестно куда, потому что это празднующие». Крупные землевладельцы, вообще люди земли, в массе не склоняясь определенно к олигархии, все же составляли ее молчаливую поддержку, особенно под влиянием спартанских набегов (набегов было пять на протяжении одной Архидамовой войны — за 10 лет, и их было бы, конечно, еще больше, если бы им не пришлось чередоваться с зонами чумных заболеваний). Сила как демократии, так и олигархии определялась вообще не столько известным мирозерцанием или фамильными традициями их сторонников, сколько их материальными интересами. В среде войска были, кажется, такие же не вполне надежные элементы; по крайней мере длинноволосые «всадники» в своей оригинальной одежде, спортсмены и волокиты были особенно ненавистны Клеону.

Пелопоннесские войны наполнили своим бесславным шумом и бедствиями 27 лет афинской жизни. Они окончились лишь поздней осенью 405 года, после того как спартанец Лисандр наголову разбил афинский флот — 180 триер — при Эгос-Потамах (близ фракийского Херс^{онеса}, насупротив Лампсаки), и при этом без малейшей убыли в спартанских силах. Следом оба царя поспешили в Аттику, но взять Афины оказалось нелегким делом. Город сдался на волю победителей сам, под давлением голода и сильной олигархической партии с Ферам^{еном} во главе. Тот же Лисандр в апреле 404 года ввел пелопоннесский флот в пирей-

¹¹⁰ Внизу листа 172 зачеркнутая строчка из стихотворения Анненского «Невозможно»: «Но люблю я одно Невозможно». — В. Г.

¹¹¹ О положении партий в Афинах см. особенно книгу Gustav Gilbert. *Beiträge z. innern Gesch. Ath. im Zeitalt. d. Peloponn.* Kr. Leipzig, 1877. S. 102 ff.

¹¹² Eur. *Suppl.*, 238 ff.: οἱ μὲν ὄλβιοι ἀνωφελεῖς τε πλείονον ἐρῶσ' αἰεὶ.

¹¹³ Eur. *Herc. fur.*, 588 ff.

ские воды и без промедления отдал приказ о сношении длинных стен. Общине оставили только 12 кораблей. Афинская держава была сломлена, и персидское золото почти через 20 Олимпиад, но получило-таки реванш за Саламин и Платею.

Но каковы бы ни были результаты междоусобной греческой войны, было давно пора кончить эту бойню. Враги дошли уже до озверения. Так, за несколько дней до последнего поражения афинского флота Лисандр казнил в Лампсаксе 3000 афинян; это было даже не политической мерой, а лишь слепым возмездием за жестокость, проявленную ранее с афинской стороны по отношению к целопоннесским пленникам¹¹⁴.

Оглянемся на ход этой роковой для афинской державы войны. Ее причины нельзя искать, конечно, в честолюбивых замыслах Афин. Чего могла бы добиться эта морская держава: ослабления торговой конкуренции Коринфа и окончательного унижения Эгины? Чего могла она ожидать по отношению к Спарте или Фивам? Перикл берет на себя ответственность за начало войны. Но разве все дело в том, кто должен был ее начать? Война с Целопоннесским союзом была неизбежным следствием афинской державности, и во второй речи Перикла превосходно доказано¹¹⁵, что для Афин собственно и не было даже выбора между миром и войной. «Вопрос о вашей державности напоминает вопрос о тирании — захватить ее кажется несправедливым, а освободиться от нее прямо-таки опасным».

Неуспех войны для афинян лежал, однако, чуть ли не в природе вещей. Прежде всего афиняне должны были действовать против союза и сами охранять союз, — и все это в одиночку. Я уже говорил о причинах, по которым они не могли вооружить своих союзников. Перикл, восхваляя предводимую им общину, указывал на это обстоятельство в первой из своих речей и, может быть, не без горечи даже. «Никогда того не было, чтобы кому-нибудь из наших врагов пришлось выдерживать борьбу против всей массы наших сил, потому что мы принуждены рассылать корабли и пехоту в разные пункты нашей державы одновременно. Но враги, померявшись лишь с одной слабой частью нашей силы и победив ее, никогда не преминут похвалиться, что отразили нас в полном составе, а в случае поражения склонны уверять, будто уступили массе наших объединенных войск»¹¹⁶.

Я говорил уже о сравнительной слабости афинской пехоты. А как ни много значила береговая линия для каждой из эллинских общин (кроме

¹¹⁴ Xen. *Hist. gr.*, II, 1 [?]; Plut. *Lysand.*, 7–13.

¹¹⁵ Thuc., II, 63.

¹¹⁶ Thuc., II, 39.

Аркадии), но афинский флот не мог приобрести в междоусобной войне решающей силы, которая помогла ему отразить персов и создать фракийско-ионийский морской союз.

Неуспеху войны содействовало и внутреннее положение Афин: в общине росла скрытая олигархическая язва, и самая демократия беднела просвещенными силами. Стратеги, правда, все еще выбирались из людей с прошлым и были завалены делом, но в демагоги афиняне попадали уже помимо этого почетного и ответственного положения. Демагог не был одним из выбранных доверенных лиц, это был просто влиятельный человек партии, обыкновенно искусный оратор на Пниксе: сила его была не в традиции, не в деньгах даже, а в надеждах, которые он поселял в толпе обездоленных¹¹⁷. Пусть на стратегах продолжала лежать масса разнородных обязанностей по наблюдению за крепостями, гаванями, стенами, подвозом провианта, по сооружению триер, антидосам, делам иностранцев, судебным процессам, возникавшим специально в военной среде (таковы обвинения в трусости и дезертирстве), даже устройству жертв Аммону, Гермесу и Ирене (Миру); пусть, кроме прямых обязанностей стратега, эти чиновники были завалены делами союзников и, вероятно, председательством в союзном совете (он собирался в это время в Афинах в здании Стратегии), — но направление внешней и внутренней политики шло помимо них — под давлением кожевника Клеона, или бронзовых дел мастера Гипербола, или изготовителя лир Кисофона.

В серьезное *status in statu* превращается и гелиея: правда, ее наполняют бедняки, которые с трудом перебиваются на гривенник в день, — но эта афинская богема становится заносчивой, так как она составляет единственную в целой стране коллегию, не несущую никакой ответственности, и при этом решает дела безапелляционные. Пускай нет опасности, что туда проникнут олигархические элементы, все же однородный состав гелией не мог не обесценивать самого принципа демократии как культурной силы. Трагизм афинской демократии именно и заключался в том, что она росла слишком быстро, и причем соками ее создавалась культура, скорее, для будущего, чем для собственных рядов. Просвещение — *Aufklärung* — в эти слова, в сущности, привнесено слишком много современного, но об этом дальше.

Увеличение числа процессов политического характера в порядке частного обвинения как со стороны тайных олигархических союзов (гетерий), так и со стороны радикальной демагогии свидетельствовало, конечно, не только о росте оппозиции государственному строю, но и о

¹¹⁷ Зачеркнуто: «По-прежнему стратеги целыми днями не выходили из присутствия...» — В. Г.

внесении в дело охраны конституции интересов, не имеющих с ней ничего общего. Целая пропасть лежит между Эфиальтом, когда в качестве защитника демократического строя (*προστάτης τοῦ δήμου*) он, перед тем как нанести решительный удар ареопагу, донимает олигархов процессами по отчетам при сдаче должностей¹¹⁸, и тем сикофантом аристофановской комедии, который «держит светильник, чтоб не утаились подлежащие отчету»¹¹⁹.

Из причин, обусловивших афинский неуспех, можно указать еще на обеднение этого города политическими и военными силами. Афинский демос никогда не отличался особо бережным отношением к своим руководителям, и сам Перикл не ушел от обвинения в «краже государственных сумм», но в эпоху Пелопоннесских войн гибель активных сил общины уже слишком ясно идет на убыль. Еврипидовский идеал созерцательной жизни уносит, очевидно, слишком много жизненных соков демоса. Стратегов чуть ли не за каждый неуспех отдавали под суд, и это не могло не рождать в войске недоверия к его вождям¹²⁰. Перикл успел за свою долгую службу государству создать целый ряд почтенных сотрудников, каков Формион, сын Асония, и Гагнон, сын Никии, но с его смертью эти люди сходят с политического горизонта. Взамен, среди прочих, выступает на политическую арену Никия, сын Никерата¹²¹, у которого было счетом почти столько же стратегий, сколько у Перикла¹²². Вообще этот сторонник мирной политики и экономии афинских сил, по видимому, подражал Периклу. Он был необыкновенно усерден к службе и то время, которое он проводил в Афинах, целыми днями сидел в Стратегии. Нерешительный характером, Никия отличался при этом большой набожностью и даже склонностью к суеверному страху: черта веры в Афинах передкая, хотя и совсем уже не во вкусе Перикла. Аристотель в «Афинском государстве» называет Никию в числе трех наиболее замечательных, по его мнению, людей пятого века (с Фераменом, одним из тридцати, и Фукидидом, сыном Мелесии, олигархическим соперником Перикла). Комики относятся к Никии особенно благожелательно, и Аристофан в 414 году выводит его на сцену под видом Амфиарая, т. е. чело- века, который «хотел быть, а не только казаться лучшим».

¹¹⁸ Plut. *Kim.*, 15, *Per.*, 10. Ср. Gilbert, a. a. o., 83.

¹¹⁹ Arist. *Acharn.*, v. 938: φαίνειν ὑπευθύνους λυχνόχους. Платон в «Горгии» обозначает как особую примету риториков, что они убивают, лишают имущества и отсылают в изгнание кого им только заблагорассудится. Ср. Gilbert, a. a. o., *ibid.*

¹²⁰ Bel<och>. *Gr. Gesch.*, I, 554.

¹²¹ Впервые в 427/6 году и уже пожилым, так как он старше Сократа, родившегося в 469 г.

¹²² Только раз с 427 г. по год смерти Никию обошли на выборах в стратегию.

Но Фукидид дает сыну Никерата довольно уклончивую характеристику. Речь идет о только что заключенном в 421 г. мире, который даже назван по его имени (Νικίαιος εἰρήνη): «Никия, сын Никерата, наиболее благополучный из стратегов своего времени, обнаруживал решительную склонность к спокойствию. Никия хотел сберечь свою удачу, пока он пользовался и ею и общим уважением, успокоиться и дать отдохнуть гражданам, а также оставить и будущему имя свое как человека, ни в чем не обманувшего надежд государства¹²³. Лишь из отсутствия риска, по его мнению, могли произойти эти преимущества, которых можно достигнуть, лишь возможно менее доверяясь случайностям, и потому Никия только мир считал обеспеченным от всех опасностей»¹²⁴.

Как бы мы ни смотрели на Никию, но в свое время этот человек был необходим в качестве сдерживающего начала, сначала для Клеона, а потом для Алкивиада, и демос, по-видимому, понимал значение своего почти бессменного стратега.

Большим горем для афинской политики, чем огранич^{енность} Никии и стратегические ошибки Клеона во Фракии, была авантюрная экспедиция Алкивиада. Он первый в Афинах резко порвал с программой Перикла, в которой гений и патриотизм государственного человека сочетались с его долгим и не раз горьким опытом. Но пора вернуться назад.

Первые десять лет войны — в этом периоде ее зовут обыкновенно Архидамовой — прошли для афинян с переменным счастьем. Безусловно, пострадала сама Аттика от пяти спартанских набегов, к тому же чума в три приема (430, 427 и 426 г.) унесла почти четверть афинского населения. На юге Клеону и Демосфену удалось захватить Сфакторию (426 г.). 292 спартанских гоплита были отвезены в Афины в виде драгоценного плена, но на севере дела обстояли хуже: Гиппократ наголову разбит был при Делии (в Беотии, близ Танагра) беотийским союзом и сам погиб в этой битве, где против афинян сражалось 19 тысяч человек¹²⁵. Таким образом, попытка ослабить с этой стороны Пелопоннесский союз оказалась неудачной.

Между тем спартанцы после Митилены¹²⁶ решились и сами тревожить своих противников на периферии, и вот талантливый Брасида в 424 г. наносит афинскому авторитету во Фракии страшный удар: ему удается переманить на сторону спартанцев не только македонца Пердикку, но

¹²³ Зачеркнуто: «Он полагал, что лишь отсутствие риска может быть желаемый результат и что надо, чтобы человек наименее вверялся случайностям ввиду того...». — В. Г.

¹²⁴ Thuc., V, 17.

¹²⁵ Thuc., IV, 76 sq., 89–101.

¹²⁶ См. выше.

союзные города афинян Стагир и Акаиф, сдастся ему и Амфип¹²⁷. Афинский стратег Фукидид (историк) еле-еле успеваеа сохранить за союзом Эиоп, крепость в устье Стримона. Фукидид уходит в изгнание, но Эион все же оставляет афинянам надежную базу для дальнейших действий во Фракии. Через два года Клеон в качестве стратега идет на вырчку Амфиполя, но маневры его из Эиона оказываются столь неудачны, что спартапцы разбивают его под Амфиполем наголову — битва унесла обоих вождей, но у спартапцев, кроме этого славного офицера, всего только шесть человек. В 421 г. соглашением Плейстоанакта спартапского и Никии удаеа ратифицировать мир, к сожалению, отнюдь не обеспечивший за афинянами исполнения со стороны спартапцев их обязательств. В Амфиполе удержался спартапский гарнизон. Партия мира потерпела поражение на следующих выборах 420 г., и роль первенст¹²⁸ вующего> страт<ега> переходит к Алкивиаду.

Теперь афиняне заключают оборон<ительный> союз с Аргосом, Мантинсей и Элидой, вследствие чего Коринф стаовится на сторону Спарты.

Политика Алкивиада не оказываеа, однако, особенно успешной: увлекшись распространением нового афинского союза в Пелопоннесе, он сталкиваеа с лакедемонянами около Мантиней. Союзники разбиты и теряют 1100 человек с обоими стратегами, Лахетом и Никостратом, тогда как убыль спартапских войск оказываеа лишь в 300 человек¹²⁹. Следом распадаеа и союз, а в Афинах ловким маневром Алкивиада и он и Никия оказываюа правыми, изгнание же постигаеа демагога Гипербола, который удаляеа на Самос по приговору на черепках¹³⁰ (едва ли не последний случай применения остракизма). В Алкивиаде в этом году (конец 417 г.) сказалеа Алкмеонид, прирожденный политический игрок, на Пниксе опять почувствовался парламентаризм, забытый при Клеоне и Гиперболе. В 415 году афинянам улыбуналась удача — наконец-то им удалось довершить цикл своих эгейских владений. Милос был взят голодом, после годичной осады, и, к стыду афинян, жители, взрослые мужчины, казнены, а прочие проданы в рабство¹³⁰. Это был уже второй случай афинского варварства в Пелопоннесскую войну, еще менее объяснимый даже потому, что милосцы не были ранее союзниками Афин; и при этом нельзя было даже обвинить ни Клеона, ни вообще чернь и радикальных демагогов. Демагогию делаа Алкивиад и Никия, которым, скорее, подходило название καλοὶ καῦθοι.

¹²⁷ Thuc., IV, 78–88, 102–108.

¹²⁸ Thuc., V, 61–75.

¹²⁹ Зачеркнуто: «очерпкованный». — В. Г.

¹³⁰ Thuc., V, 84–116.

В 415 году афиняне снарядили экспедицию против (правителя? — В. Г.) Сиракуз, который за последнее десятилетие обнаруживал самые решительные попытки стать монархом Сицилии. Ближайшим поводом к походу послужил захват Сиракузами Сегесты, входившей в афинский союз¹³¹. Афинам предстояла перспектива или совсем отказаться от западных рынков, предоставив Карфагену и Коринфу сицилийские житницы, или послать туда флот. Мысль назревала уже давно. Теперь толчок афинской политике дала предприимчивость Алкивиада. Этот честолюбец мог наконец отличиться чем-нибудь, что бы выделило его из заурядности стратегов. Никия попробовал было указать согражданам на ближайшие задачи государства: в глаза глядела не возвращенная Халкидика, но и он сдался под влиянием левых, и поход был решен. Причем начальство над флотом вверяли, кроме Никии и Алкивиада, Ламаху, одному из еще уцелевших сподвижников Перикла. Когда корабли уже готовы были отплыть, произошла неожиданная задержка. Наутро одного из ближайших к отъезду дней¹³² в городе было обнаружено неслыханное кощунство: почти все гермы, украшавшие улицы и площади Афин, лежали на земле изуродованными. Народ всполошился. Совету было поручено произвести строжайшее следствие. Город был полон слухов, в которых, по обыкновению, мешали просвещение и пьянство, философию и кощунство. В частности, против Алкивиада Андроклом (радикальный демагог) была возбуждена эйсангелия, будто он у себя дома разыгрывал с приятелями пародию на элевсинские мистерии. Что было тут истиной, что политической интригой и с какой стороны, главным образом, шла эта интрига, мы едва ли когда-нибудь узнаем. Сам Алкивиад потребовал немедленного суда, но его противникам (или, быть может, друзьям?) удалось добиться вердикта народного собрания, согласно которому суд над ним должен был происходить по возвращении стратегов из экспедиции. Верно одно, что Алкивиад был ни при чем в оскорблении афинских гермов: напротив, проделка, поскольку в ней был план, была направлена против него; в пародии же на мистерии, которую как-нибудь устроил этот афинский сноб, не было, конечно, решительно ничего невероятного.

Среди лета 415 г. флот наконец отплыл: он отличался не столько количеством, сколько отборностью боевых сил: к 60 военным кораблям присоединили 40 триер для перевозки 5000 пешего войска, из которых четыре пятых были гоплиты. Флот усиливался 34 триерами союзников. Рассчитывали, что Сицилия также окажет поддержку афинянам, но в южной

¹³¹ События сицилийского похода рассказываются Фукидидом в VI книге его истории, см. 6 сл.

¹³² В ночь с 10 на 11 мая.

Италии и на Сицилии стратегов приняли холодно: должно быть, афиняне запоздали прийти с помощью зап<адным> союзникам. Даже дружественный Регий колебался, а Мессена и Камарина объявили себя нейтральными.

Между тем дело об оскорблении святыни шло своим чередом. Явился доносчик Андокид, оговоривший целый ряд гермокопидов, но в их числе не было имени Алкивиада. Таким образом, одна часть обвинения с Алкмеонида спала. Зато слухи о пародии на мистерии все росли, и теперь с этой новой эйсангелией является на Пникс уже не радикальный демагог, а олигарх Фессал, сын Кимона, которому без особого труда удастся добыть второй вердикт по этому делу: демос посылает за Алкивиадом «Саламинию» с приказом немедля прибыть в Афины для суда. Для Алкивиада, а может быть, и для ближайшей судьбы Афин, это был решительный день. Алкивиад, основываясь на первом вердикте, отказывается исполнить второй, его уничтожающий, и уезжает сначала в Фурии, а оттуда в Элиду и наконец в Спаргу. В Спарте влияние Алкивиада на спартанскую политику становится с этого дня определ<яющим> политическим фактом, которого Фессалы и Андроклы, пожалуй, и не предвидели. Вместо грабительских набегов на аттические поля теперь спартанский ц<арь> Агис занимает высоты Декелея, и лагерь его, как новый *memento mori*, как некогда цветущая Эгина, тяготеет над афинским населением — целые годы отныне будет длиться эта унижительная блокада Афин. Но еще ранее, по настоянию Алкмеонида, спартанцы посылают в Сиракузы Гилиппа — и в этом метком выборе превосходного полководца и человека, близко знакомого с сицилийскими делами, нельзя не видеть дьявольской гениальности Алкивиада. В Афинах Алкивиад заочно приговорен к смерти. Его соучастники в кощунстве, Аксиох и Адамант, тоже. Имущество их конфисковано, и самое имя предано проклятию.

Между тем Ламах и Никия действуют в Сицилии сначала успешно, но с проволочками, в которых нельзя, впрочем, обвинять этих офицеров: по-видимому, вынужденное удаление Алкивиада внесло некоторую дезорганизацию в морскую дружину. Серьезные действия афинян против Сиракуз начинаются весной 414 г. Осадные работы афиняне имеют в виду на цел<ых> 5 в<ерст> от южн<ой> до северн<ой> гаваней отрезать Сиракузы от территории. Вылазки решит<ельно> не удаются сицилийцам, но в одной из стычек убивают Ламаха, и это новое несчастье действует на солдат самым удручающим образом. Но и в Сиракузах поговаривают уже о сдаче, когда в Гимеру ловко пробирается спартаец Гилипп, бывший эмигрант, фурийский демагог. Его имя собирает вокруг Сиракуз новых союзников, с ними он пересекает остров и является к осажденным, и с этих пор чаша весов начинает клониться на другую сторону. Хотя сил у Никии еще очень много, но осажденные действуют энергично и так ис-

кусно, что в конце концов Никии, отброшенному за шанцы, приходится ограничить свою тактику на суше одной обороной.

Между тем к Гилиппу подоспевает (весной 413 г.) двенадцать коринфских триер, а Беотия и Спарта доставляют ему 1600 гоплитов. На море Никии приходится теперь еще труднее: корабли, давно вытасщенные на берег, оказываются в самом плачевном состоянии, экипаж в болезнях или дезертировал.

Блокада Афин Агисом начинает тем временем давать себя чувствовать. Скоту не хватает кормов, рабы бегут, а тут еще Никия просит поддержки. На этот раз афиняне выбирают для Сицилии стратегов с особой внимательностью: к Никии идет Демосфен, победитель при Сфактерии, и Евримедонт, который уже командовал флотом в сицилийских водах. Триер, однако, могут снарядить только десять. На счастье, флоту подсобляют Метапонтий и Фурии, где как раз только что одержала верх афинская партия. Всего под командой новых вождей прибывает 73 триеры и 5 000 гоплитов. Но и Сиракузы не теряли времени, они успели укрепиться, и первый же приступ Демосфена отбит с большим уроном. Опять начинается бездействие, да к тому же Никия и Демосфен никак не могут столкнуться. Никия боится решительного натиска с моря, а когда Демосфену удастся наконец победить его колебания и приступ с моря решен, как на грех, подоспевает лунное затмение, и Никия, суеверный сам, может использовать для своего выжидательного плана и панику, охватившую афинян.

Сиракузцы не замедлили утилизировать замешательство в среде своих противников. Афинянам все же приходится принять морской бой, но при этом в самых невыгодных для них условиях, в малознакомой им водной теснине. Битва стоит афинянам Евримедонта и восемнадцати триер. После нового неудачного сражения, которое унесло 50 аттических триер, деморализация и истощение войска заставили афинян отказаться от дальнейших попыток разбить Гилиппа. Припасы были совсем на исходе. Приходилось и с афинскими вождями, бросив флот, раненых и больных, спастись в ближайший дружественный город Катану. Собрали до 25 000 человек, поделив их на два отряда. Они бы, может быть, выбрались из-под Сиракуз, несмотря на перерывы межами пути, но, к сожалению, Никия, командовавший авангардом, пошел вперед слишком быстро, и, прикрывая отступление, Демосфен был застигнут неприятелем. Сначала он со своей дружиной, а потом и Никия после мужественного сопротивления должны были сдаться. Все было окончено.

Против всех международных обычаев, Никию и Демосфена казнили. Пленные наполнили собою каменоломни, где они были оставлены на произвол переменчивой погоды, болезней, отчаяния и перспективы невольничьего рынка.

Эта страшная катастрофа имела для Афин два ближайших последствия: перемену в государственном строе и начало быстрого распада союза. Злоба афинян прежде всего вылилась на риторов, которые «настаивали на экспедиции», «как будто афиняне не сами голосовали вопрос», ядовито прибавляет Фукидид¹³³, но недовольство затронуло и гадателей, и предсказателей, и всех вообще, которые поддерживали надежду на успех предприятия.

Новый распорядок вручал верховное правление коллегии из десяти выборных пробулов — их ближайшие функции были те же, что у Совета. Для финансовых дел была введена тоже новая коллегия порситов, причем прямое обложение союзников отменялось с заменой его 5%-ным сбором с ввоза и вывоза товаров, производящихся по союзническим гаваням.

Начало распада союза пошло с Эвбеи, Лесбоса и Хиоса — их делегаты заявили в Декелейском лагере о решении своих городов. Алкивиад тоже не дремал. В Пелопоннесский союз был вовлечен персидский царь. Теперь, впрочем, не нужно было декорации восьмидесятых годов. Достаточно было сатрапа, конечно, такого, который бы умел держать завязки денжного мешка. Таким оказался Тиссаферн, который и заключил с Союзом договор. Они должны были признать законные права Ахеменидов на всю область их прежнего владения в Малой Азии, а царь, со своей стороны, обязался платить жалованье пелопоннесцам, действующим в азиатских водах во все время войны с Афинами.

Между тем в Афинах к этому времени выступает на сцену группа людей с планом олигархического персворота. Все это люди просвещенные и риторски искусные. Их объединил лучший юрист того времени и превосходный, хотя дотоле и редко выступавший на политической арене, оратор Антифон из Рамнуса, Арметолем (сын архитектора Гипподама, получившего афинское гражданство), блистали имена трагиков (Меланфий) и впоследствии столь знаменитый Ферамен из Стейрии, сын Гэггона, одного из Перикловых сподвижников; тут были бывшие стратеги, знать, между которой выделялись люди, которые за десять лет до этого стояли на стороне радикальных демагогов (Пейсандр). Алкивиад, со своей стороны, готов тоже примкнуть к этой элите¹³⁴. Он в последнее время становится подозрительным> Спарте вследствие своей особенной близости с Тиссаферном. Этой близостью Алкивиад обнадеживает олигархов, но когда дело доходит до переговоров с сатрапом, то оказывается,

¹³³ Thuc., VIII, 1.

¹³⁴ Выражение принадлежит Белоху, которому я местами следую и в передаче событий (главным образом там, где он дополняет Фукидида, Плутарха и «Греческую историю» Ксенофонта).

что Алкивиад слишком преувеличил податливость персов. Тиссаферн вовсе не расположен менять Спарту на Афины. Алкивиаду, впрочем, в сущности, вовсе не до успехов олигархии, непрочность которой он отлично видит. Поддерживая покуда мир и со спартамцами, и с Персом, он дает понять и самосскому войску, где находятся в это время оба сильнейшие противники олигархов, Фрасибул и Фрасилл, что он с ними. Олигархический переворот в Афинах совершается, не скомпрометировав Алкивиада. Число граждан ограничено <было?> лишь имущественными классами и <нрзб.>. Новый Совет 400 получает неограниченные полномочия, но у него нет войска. Оно на Самосе и настроено демократически, как и сами жители острова. Напрасно олигархический элемент афинского офицерства подсылает убийц к бывшему демагогу Гиперболу, который использовал время своего изгнания на демократическую пропаганду среди самосцев, — олигархия от этого не усиливается. В политических счетах появилась, таким образом, новая графа — персидские экономии.

С этих пор положение афинян становится, в сущности, почти безысходным, и до сих пор, читая историю последних лет войны, мы не можем не дивиться и не сознавать, что несмотря на всю удивительную энергию и жизненность этого народа, на всю раздиравшую его партийную ненависть, весь он все же, со своими олигархами, демагогами, сикофантами и всадниками — без различия, — прошел одну многолетнюю школу свободы и равенства.

Война между тем идет с переменным успехом, но к началу 411 года у афинян ост<ается> лишь незначительная часть их владений в Ионии и Карики. Они держатся еще на Геллеспонте и во Фракии. Киклады тоже пока не тронуты. Афинское правительство вступает в переговоры с флотом, и Алкивиад не отказывает ему в указаниях. Благодаря его авторитету, войско согласно вернуться в Пирей и признать олигархию 5000, только с обязательством олигархов возобновить старое конституционное булэ в 500 человек, устранив Совет 400. Партия олигархов раскалывается, и в конце концов победа остается на стороне умеренной ее части, которую представляет главным образом Ферамен.

К этому времени размеры афинской державы сократились еще более, но несколько лет блестящих успехов Алкивиада успели вернуть общине если не силу, то часть ее прежней славы.

В 408 г. Алкивиад вернулся в Афины из своего блистательного похода, отдавшего этой общине снова берега Геллеспонта до самого Босфора, с гарантией для свободного подвоза зернового хлеба и богатыми контрибуциями с отвоеванных городов. В Афины вступал уже не реабилитированный эмигрант, над которым тяготело проклятие сакральной колле-

гии, а увенчанный славой победитель, и это сознание было для высокомерия Евпатрида, конечно, большей наградой, чем встретивший его почет. Все же это не был Клеон, которому бы льстили прогедрия и пожизненный писк.

В сентябре 408 г. афиняне получили давно забытое ими утешение: под эгидой Алкивиада они могли устроить даже процессию в честь Иакха по дороге в Элевсин, невзирая на Декелейский лагерь.

Между тем блестящее и высокомерное прошлое доставило Алкивиаду и в Афинах да и во всем тогдашнем кругозоре немало врагов. В родном городе не смели, конечно, и пикнуть против человека, который добился для Афин нового ресурса для казны в виде десятины с судов, проходивших через Босфор, но между демагогами и олигархами были люди с большим политическим опытом — они молча взвешивали Алкивиадовы шансы. Потому что слишком хорошо знали, что такое для приходящих на Пникс успех облюбованного ими гражданина. Тайные враги ждали новых испытаний. Теперь, когда честолюбие Алкивиада было удовлетворено, когда не его простили, а он простил, он, может быть, не будет уже так деятелен. Случай показать себя на деле не замедлил настать. В том же 408 году, осенью, Алкивиад в кач^естве автократора морских и сухопутных сил оставил Пирей. Он вез на 100 триерах 1500 гоплитов и 1500 всадников. Нападение на Андрос не удалось, и первый шаг в сторону недовольства толпы был уже, таким образом, сделан.

Между тем у спартанцев оказались в игре новые силы. В Сардах сидел незаконный сын Дария Кир, ненавистник лукавой политики Тиссаферна и заклятый враг Афин. Завязки персидского кошелька оказались ослабленными, и благодаря этому Лисандр прибег к мере, которая в свое время не пришла в голову даже самому Алкивиаду. Из Эфеса он устроил олигархическую пропаганду между сторонниками Афин. Сил у него было еще мало, и на бой он не отваживался, но даже в афинском флоте, особенно среди новобранцев, началось сильное дезертирование. Алкивиаду пришлось, в свою очередь, прибегнуть к притеснению городов, причем денежные вымогатelьства не обходили и дружественные Афинам общины. К этому присоединилась и неудача под Потеем <?> (у Плутарха: Эфесом. — В. Г.), которую потерпел в отсутствие Алкивиада один из его адмиралов, Антиох.

Враги Алк^еонида не ошиблись в своих расчетах. Против Алкивиада разразилась в экклесии целая буря: он был лишен полномочий главнокомандующего, и на смену ему назначено было десять стратегов с Кононом во главе. Алкивиад уже не вернулся в Афины, с Самоса он переправился в Херсонес фракийский, где у него был на всякий случай заготовлен ряд укреплений, и здесь зажил автономным владельцем, до-

говариваясь с соседними фракийскими племенами, а иногда, напротив, с ними воюя. Перед сражением при Эгос-Потамaxe (405 г.) Алкивиад предлагал родине свои услуги, но их отвергли, и на следующий год он был убит Фарнабазом во фригийской Мелиссе, по приговору спартанского правителя, успев еще в год смерти блеснуть ярким скрещиванием ненавистей побежденных, т. е. афинской демократии и Артаксеркса II, и победивших в лице Спарты, младшего Кира и афинской олигархии.

Между тем афинский флот под начальством Конона летом 406 года потерпел решительное поражение под Митиленой, и в результате от великого флота, который господствовал на Эгейском море, не уцелело более ни корабля. Крайним напряжением сил афиняне сооружают и снаряжают 110 новых триер. Причем метэкам дают права граждан, а рабам обещают свободу. На помощь приходят десять кораблей верного демократии Самоса, и с разных пунктов Эгейского моря собираются рассеянные там еще афинские отряды. Спартанец Калликратида выходит навстречу афинскому флоту на 120 триерах, оставив за собой в виде подкрепления еще 50, и афиняне одерживают победу при Аргинусских островах, в результате которой Спарта теряет бaсилея и 70 триер. Но афинские стратеги не успевают, а, может быть, отчасти и не умеют воспользоваться своей удачей. Сильный норд заставляет их даже пренебречь спасением афинян, гибнущих на разбитых бурей кораблях. Между тем целопоннесцы успели подобрать своих пехотинцев и припасы с Митилен и доставить войско на Хиос в полную безопасность. Афиняне потеряли только 25 триер, но и это было для них теперь чувствительным, особенно ввиду того, что экипаж погибших кораблей был почти сплошь афинские граждане. Конона сместили, а стратегов вызвали в Афины. Им не удалось свалить вину на триерархов, так как среди этих последних оказались такие сильные люди, как Ферамен. Стратеги были преданы суду. Их явилось шестеро, и все были казнены $\mu\acute{\alpha}\ \psi\eta\phi\phi$. Между ними пали Перикл, сын Перикла и Аспасии, Фрасилл, славный демократической стойкостью на Самосе, и еще четыре стратега, все заслуженные люди и сторонники клисфеновского режима.

Конiec войны я уже пересказывал раньше. Я хочу ненадолго остановиться — ранее, чем перейти к характеристике культурной стороны этого периода, — на одном политическом деятеле последних лет Целопоннеской войны. Речь должна идти о Ферамене¹³⁵.

¹³⁵ Далее зачеркнуто Аппенским: «Если Алкивиаду, которого странно было бы отнести к политическим флюгерам, Фукидид с полным правом приписывает характерную фразу о демократии как всемирно осужденной глупости, то напрасно было бы удивляться и тому, что Ферамен не был убежденным олигархом». — В. Г.

Надо различать между двумя течениями афинской реакции. В группе так называемых тимократов 411 года были люди, которые, может быть и искренно, хотели сберечь народоправство. Чистые теоретики, каким, по-моему, был и Ферамен, сын Гагнона, в политической сфере сотоварищ Перикла, — почти всегда искренние люди: вся их вина в том, что они думают исправить жизнь кабинетными проектами и при этом лишены гения, который заставлял бы окружающих в это поверить. Не только Аристотель, со своей определенной враждой к афинской демократии, но даже Фукидид, сын Олора (историк), вскормленный идеями Перикла и презумпциями афинской демократии, очень высоко ставили конституцию 411 года, хотя отзыв о ее спасительности звучит для нас некоторой иронией в связи с тем, что сказала нам жизнь. Вся многострадальная история соглашений с Самосом, распрей между крайней правой и центром и работ в законодательной комиссии, которая отнеслась к своему делу с большой добросовестностью¹³⁶, — длилась лишь полгода, и первая победа на море снесла весь этот муравейник, вернув Афины к режиму и высокомерию 445 года. Пирейский охлос, который силою вещей и всеми признаваемой фикцией закона с начала войны стал самодержавным демосом, экклесией, — опять почувствовал себя хозяином положения и настоящим наследником «отцовского строя», которым — толпа (τὸ πλῆθος, τὸ πολὺ) была в этом уверена — олигархи (кто бы стал еще в Пирее различать Фриниха от Ферамена) лишь самозванно прикрылись. Проект конституции 411 года интересен нам теперь не в смысле ее практических результатов и даже не постройительной своей частью, а главным образом с точки зрения критики эфιάλτο-перикловского строя: как-никак в этом проекте проявилось выросшее политическое сознание и попытка освободиться от традиции и пчелиного ума привычных демократов. Я отлично знаю, разумеется, что в программе тимократов смешно искать одних принципов, вынесенных из софистической школы¹³⁷: в ней глубоким пластом залегла и злоба личных счетов, и зависть риторов камеры к риторам Пникса, и обида богатого класса, который несет тяжелые расходы по снаряжению триер, а также устройству гимназий и зрелищ, чтобы в лице стратегов терпеть в собрании нелепые и невежественные интерpellации какого-нибудь скорняка и быть в вечной зависимости от его сикофантов. Но все же для историка культуры в этот важный

¹³⁶ Мы знаем результаты деятельности комиссии из «Афинской политики» Аристотеля. См. также Wil., а. а. о., I, 116 ff.; II, 161 ff.

¹³⁷ Аристофан намекает на связь Ферамена с Продиком, он называет его Κεῖος, как называли Μῆλος Сократа, подчеркивая его безбожие (теоретиком атенизма был Диагора Милосский).

период жизни интересны прежде всего проявления критической мысли и индивидуализма, а не их политический неуспех и сопутствующие им инстинкты. Демос был самодержавен, но суверен этот имел слишком много голов, чтобы можно было рассчитывать, что все они, вместо того чтобы смотреть за горном, плугом, свитком, уборкой оливок, да еще на пространстве 2500 квадратных верст, — будут в данный момент смотреть в одну сторону и даже на одну точку, а именно на оратора в экклесии. Самодержавный народ — единственный законодатель Афин, булэ могло быть лишь законодательной комиссией, по необходимости функционировало в виде случайного собрания и притом по большей части городских и праздных людей¹³⁸. Самые важные решения, касавшиеся иногда судьбы государства или отдельных людей (в смысле предания их суду, конечно) решались в учреждении, почти не организованном: не было выработано даже численных норм, при которых постановления экклесии получало законную силу.

Так какой же проект противопоставляют такому положению дел умеренные олигархии? Он сводится к двум пунктам: 1) ограничение числа полноправных граждан и 2) *обязательное* посещение собраний.

Первое имеет чисто тимократический характер — 5000 граждан, все исключительно *δῆλα παρ' ἑξ ὅψεως* (милиция, владеющая оружием), — и Ферамен во втором акте олигархической комедии (404 г.) сам сместся над возможностью рассматривать его иначе. Нельзя же предполагать, что «ни вне этого числа не будет людей порядочных, ни в его пределах не окажется злоумышленных»¹³⁹. Второе несколько тоньше и обнаруживает довольно сложную работу мысли. Перикл сделал государственную службу платной — это создало особый подбор гелии и булэ, главного исполнительного органа страны. Вместо этого стимула олигархии проектировали другой, а именно: *наказание* за уклонение от своих обязанностей. Число граждан сменялось по кварталам, и каждая четверть образовала в лице перешедших таким образом из очередного квартала за тридцатилетний возраст *Совет*; отсюда же выбирались и важнейшие чины государства, которые участв<овали> в заседании Совета; для председательства должны были выбираться пять прогедров, и Совет рассматривал дела в таком порядке: 1) культ, 2) герольды, 3) послы, 4) все осталь-

¹³⁸ Wil<amowitz>, а. а. о., II, 110 f.: Da die besten Vertreter des Demos, die Bauern, die Kaufleute, die industriellen Unternehmer, die Handwerker nur selten die Zeit daran wandten, so ward die Volksversammlung, statt das ganze Volk zu vertreten, geradezu die einseitigste Vertretung und die Ungerechteste; sie vertrat die Stadt, die es rechtlich gar nicht gab, trotz dem ganzen Lande, und die Drohnen trotz den Arbeitsbienen.

¹³⁹ Xen. *Hist. gr.*, II, 3, 19.

ное. В случае вопроса, связанного с войной, этот вопрос разбирался не в очередь. Чрезвычайно важна в проекте попытка, во-первых, сблизить исполнительные органы, чиновничество с массой граждан, т. е. Советом, и, во-вторых, установить две категории чиновников, причем первая (стратегы, архонты, тридцать заведующих финансами и т. д.) входила в состав Совета, т. е. правящего квартала, а остальные набирались из трех кварталов, находящихся для данного года так сказать «под паром», и в Совете не участвовали.

Меры против демагогии были приняты, конечно, самые решительные, так как новый Совет устранял из государственного обихода самую экклесию. Риторы Пникса теряли, таким образом, не только почву, но даже территорию. Но оставались стратеги, и демагогическая язва могла возникнуть именно *in hunc locum minoris resistentiae*: ведь был же демагогом Перикл, и еще целых три люстра, до 430 г. Здесь парламентская комиссия прибегла к мере уже совсем не практичной, в особенности ввиду того, что порядок вырабатывался на время войны. Стратег, согласно проекту, не подлежал переизбранию. Не только Фрасилл, Фрасибул и Леонт, но сам Алкивиад должны были отходить к сторонке, отслужив свой год, и может быть, среди начинающих успехов и накануне победы.

Слабая сторона законодательного проекта умеренных олигархов заключалась прежде всего в компромиссе. Мы, конечно, далеки от того, чтобы упрекать этих почтенных нотариусов и бывших стратегов конца века в том, что они не додумались до идей представительного учреждения и ответственности перед ними министерства, но они должны были полнее принять в соображение то античное законодательство (Дракона), которое брали себе за исходный пункт. Там был ареопаг, а как же предполагал Ферамен осуществить эту верхнюю палату в своей конституции? Затем, могли бы быть действители при развившемся индустриальном строе Аттики этот годный для небольшой общины и патриархального быта политический турнир Дракона. Как-никак, а ядро народа, средние граждане (μέσοι πολῖται) из полевой Аттики, поневоле исключались из парламентской жизни, хотя бы они и должны были нести обязанности по Совету всего в течение одного года из четырех¹⁴⁰, — на это у них не хватило бы средств. У радикальных демократов было, несомненно, более понимания почвы, на которой они действовали, и практического знания народной психологии. Я думаю, что еще Клеон, неустанно донимая олигархическую крамолу и просвещенных индивидуалистов процессами, отлично понимал, что все это лишь полумеры¹⁴¹, но что для демократии,

¹⁴⁰ Wilamowitz, a. a. o., 123.

¹⁴¹ Wil., a. a. o., II, 112 f.

ввиду переживаемого ею кризиса, нет других путей, пока она хочет считаться с активным большинством. Чинить Эфиальтовскую машину было бесполезно.

Юлиус Белох, характеризуя Ферамена, видит заслугу этого камерного ратора в практическом моменте его политики: «Мы, — говорит он, — которые стоим на таком же поле битвы между алчным (βοῦεπρλίχνης) пролетариатом и алчным юнкерством, не откажем нашему аттическому соратнику в сочувствии»¹⁴². Но меня Ферамен интересует с другой стороны. Его политические воззрения¹⁴³ — «смесь реакции и радикализма»¹⁴⁴ — являют собою политическое искание, и Ферамена, как <и> Алкивиада, может быть, правильнее рассматривать вне их практического влияния, лишь как две формы индивидуалистического провидения той эпохи, для которой понятия об афинской демократии и афинской олигархии являются архаизмами. С одной стороны, чисто кабинетная программа и пакт с Лисандром, ввиду срывааемых афинских стен, а с другой — авантюра и интрига: но пути будущего не всегда гладки.

<VI>

Население Аттики и самых Афин, несмотря на влияние иноземных культов и скепсис софистов, который затрагивал лишь его верхние слои, продолжало и в эпоху Пелопоннесских войн жить в той же атмосфере религиозных традиций и суеверных страхов. Масса как бы даже вооружилась против разрушительных влияний индивидуализма: с модернизмом философской трагедии Еврипида и Критии боролась комедия, апеллируя к традиции и здравому смыслу; за работой философов и за попытками привить гражданам чужеземные обычаи зорко следили сикофанты. Политика примешивалась ко всему: демагоги видели в Сократе разрушителя «строя отцов», как они сами понимали этот строй, и учителя олигархов; а политическая комедия травила демагогию в лице Перикла, Клеона и Андрокла.

У эллинской религии были такие прочные устои, как культ и миф, и в сущности она могла быть взята только другим религиозным течением, но отнюдь не рефлексией, уделом избранных, и не блеском философских

¹⁴² J. Beloch. *Gr. Gesch.*, II, 2 f.

¹⁴³ Если согласиться с доводами Виламовица, что автор того олигархического сочинения, которым воспользовался Аристотель для своей «Афинской политики», был точно Ферамен (см. а. а. о., I, S. 161 ff.)

¹⁴⁴ Т<ак> характ<еризует> Виламовиц проект 411 г. (а. а. о., II, 123).

построений, вроде созданных Платоном (еще в «Государстве»), с его верою в загробное воздаяние, в муки адского огня и переселение душ, одни для злых, другие для добрых¹⁴⁵. Религия так полно охватывала не только жизнь, но даже нравственное существо афинянина, что ее соперники не могли рассчитывать глубоко и влиять ни на массы, ни на самую общину.

Храмовое строительство и боговаяние идут непрерывно через весь афинский, т. е. пятый век, от Кимона к Периклу и от Перикла к Никии, поддерживая идею государственного культа силами радости и гордости граждан.

С другой стороны, не только весь блеск процессий и гимнических состязаний, но самая драма, как сценический хор, есть исключител<ельно> создание культа, и даже в самом конце века («Вакханки») она чувствует в себе силу и чары своего дионисовского рождения. А Дионис причем? *Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον* — этот лозунг послужил, как мы уже видели, основой даже для создания особого поэтического жанра, сатировской драмы¹⁴⁶. Привлечение зажиточных граждан к содержанию и обучению драматических хоров или к устройству столь любимых афинянами «бегов со святильниками» на праздниках Гесфеста и Промефея — было также фактом определенного значения не только в общественной жизни, но и в народной психологии Афин, так как при этом религиозная обязанность затрагивала такой рычаг, как честолюбие.

Кроме радости, религию поддерживал и страх. У афинян он был очень силен, и их дейсидаймония проявлялась ярко даже в конце века, иногда при самых серьезных политических осложнениях¹⁴⁷. Страх не только дал первый толчок к работе фантазии, персонифицирующей сверхчувственное начало, он обусловил и самую идею культа, т. е. умиловления богов¹⁴⁸. Страх же в виде суеверия, т. е. *выветрившейся веры*, был и ее последней формой (*superstitio*), пережитком¹⁴⁹. Рано развился среди греков вообще страх перед загробностью. Фантазия Полигнота уже работает над живописной передачей мучений грешников в аду. Живописцы V и IV в. изображали эти муки, по-видимому, вне какой-либо каноничности, пугая, ужасаясь или морализируя, сообразно каждый своим собственным религиозным представлениям: отцеубийца встречался в аду со своей жертвой, и убитый затягивал на нем петлю, демон Еврином обгладывал

¹⁴⁵ 2-я и 3-я книга, с нападка на наивную мифологию поэтов. Ср. J. Burckhardt — J. Oeri², II, 118 f.

¹⁴⁶ См. послесловие к «Киклопу» в I томе.

¹⁴⁷ Я уже говорил о Никии.

¹⁴⁸ *Primus in orbe deus fecit timor*. Petr.

¹⁴⁹ См. Plut. περὶ δεισιδαιμονίας.

грешных до костей, а святотатцу какая-то дьяволица подносила напиток, после которого черты его отвратительно искажались¹⁵⁰.

«Когда кто-нибудь, — читаем в “Государстве” Платона, — чувствует близость смерти, к нему приходит и страх и забота о том, что ранее их в этом человеке не пробуждало. Ранее он смеялся над сказками о наказании, которое ожидает в аду земного грешника (τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα), а теперь он смущен этим мифом. Человек начинает припоминать, кому он нанес в жизни обиды, и если обид окажется на его совести много, то, подобно ребенку, он то и дело просыпается от страха, и над жизнью его с тех пор тяготеет злое предчувствие»¹⁵¹. Отсюда и вера в силу очищения от преступлений, и в богов разрешающих (λύσιοι), и в дающих убежище (φύξις), и в смягчающих (μείλιχοι), отражающих (ἀποτρόπαιοι)¹⁵². Доеврипидовскую трагедию связывало с душой зрителя главным образом чувство страха, которому, однако, она придавала более возвышенный характер, так как сила, обуславливавшая этот ужас, была Божественной Справедливостью.

Тени усопших и боги мщения ужасали зрителей Эсхила. Собаки, от которых нельзя спастись бегством (ἄφυκτοι)¹⁵³, и полные гнева (ἐγκοτοι)¹⁵⁴, они травили Ореста после того, как он убил мать. По-видимому, трагедии принадлежит создание Аластора, т. е. олицетворения проклятия, которое тяготеет на преступлении: иногда у Эсхила это даже более широкое понятие злого демона вообще (κακὸς δαίμων)¹⁵⁵.

Суеверный страх среди эллинов был так велик, что в Спарте, где мертвых хоронили в предлах самого города, детей с целью развития мужества приучали ходить среди гробниц, и это было, по-видимому, даже нелегкой задачей воспитания.

Одно из лунных божеств, Геката, некогда одноликая, позже троичная, как символ трех фаз луны, рано стало эмблемой поздних ночных страхов: эта богиня насылала привидения и сторожила запоздавшего путника на месте скрещивания трех дорог, то в виде идола, то сама в виде призрака¹⁵⁶.

Характерны легенды о спартанских бацилеях Клеомене (конец VI в.) и Павсании (победителе персов при Платеях). У Клеомена его суеверие

¹⁵⁰ См. ссылки у Burck<har>d<t>—Oeri, II, 213.

¹⁵¹ Plat. *Der<e> p<ublica>*, I, V, 330 D.

¹⁵² См. ссылки у Burckh.—Oeri², II, 214, A. 4.

¹⁵³ Soph. *El.*, 1387.

¹⁵⁴ Aesch. *Ch.*, 1051.

¹⁵⁵ Aesch. *Pers.*, 353 sq. Ср. часто у Еврипида: *El.*, 979 sq., *Hec.*, 948 sq., *Hipp.*, 818 и т. д.

¹⁵⁶ Литература у W. Roscher. *Ausf<ührliches> Lex<ikon> der gr<iechischen> und röm<ischen> Myth<ologie>*, I B. 2 Abth. s. v. *Hekate*, с. 1885 ff.

перешло в сумасшествие, и ранее, чем он сделался царем, Клеомен поклялся одному из своих сообщников, что, достигнув престола, он будет делать всё «через его голову»; и вот, завладев троном, во исполнение своей клятвы, Клеомен обезглавил вчерашнего друга, и всякий раз, как ему приходилось затем предпринимать что-нибудь важное, он сообщал об этом голове Архонида (так звали сообщника), консервированной им в меду как раз в этих видах¹⁵⁷.

Имя Павсании¹⁵⁸ связано в легенде тоже с суеверием, — только здесь уже проявляется не торжество грубой силы, а мучения преступной совести. В Византии Павсания соблазнил красавицу Клеопину, а затем сам же убил ее в припадке сумасшествия. И вот убитая принимается преследовать соблазнителя из города в город, и никакие очистительные жертвы не помогают Павсании, пока он, вопреки всем политическим соображениям, не является обратно на родину и не погибнет здесь, сам замурованный в храме меднозданной Афины. Но Аластор не успокаивается и на этом, и тень Павсании смущает спартанцев, пока специально приглашенные из Италии и Фессалии знахари не поканчивают этой истории.

Еврипид, рационалист и даже философ сцены, обратил эриний Ореста в галлюцинацию и заставил Электру на сцене дежурить при больном. Но и поэт просвещения не мог уйти от грубых мифологических представлений: преступнику является не его убитая жертва, а традиционные собакоподобные мстительницы.

«О Феб, — восклицает он, — они убьют меня, эти... с лицами собак, с глазами горгон, эти жрицы подземных... и страшные богини»¹⁵⁹. Орест болен не своим преступлением, а карой за преступление, его мучит не совесть, а страх.

В религиозном чувстве эллинов было помимо радости и страха еще две характерные черты, которым скепсис не мог противопоставить ничего, кроме пародии и клеветы: первая черта проявлялась в экстазе, оргиазме; вторая в глубокой силе очищающего душу созерцания.

Таинственные почные радения женщин на Парнассе, Кифероне¹⁶⁰ и на вершине Тайгета совершались с давних пор раз каждые два года, привлекая женщин различных состояний и отовсюду. Музыка, танец и, может быть, иногда импровизированная охота удерживала поклонниц Диониса на их оригинальной стоянке по несколько суток. Царь Пенфей в «Вакханках» Еврипида олицетворил и современный этому трагику скепсис:

¹⁵⁷ Ael<ian>. *Var. Hist.*, XII, 8.

¹⁵⁸ Литература указана у Burckh.—Oeri², II, S. 256, 260 f.

¹⁵⁹ Eur. *Or.*, 260 sq.

¹⁶⁰ Подробнее см. III т. в послесловии к «Вакханкам».

фиванец смотрит на триетериды, как на беспорядок, ему видится в оргии разврат, се городское вырождение, т. е. именно то, от чего женщины бежали в горы.

Но благочестие и софросина строгих дельфийцев, если верить старой легенде, выше ценили обычай триетерид. Когда в IV веке, во время священной войны, Дельфы были в руках фокейских солдат, в ближайший к ним город Амфиссу, в урочное время, пришла толпа фияд¹⁶¹ и, как ни в чем не бывало, расположилась на площади. Узнав об этом, дельфийцы во множестве поспешили к их лагерю и окружили его широким кругом, чтобы ни один из фокейцев не смел помыслить воспользоваться сонным беспорядком гостей, а когда они проснулись, дельфийцы дали им обед и провожатых. Триетериды перешли даже в нашу эру. Плутарх рассказывает, что однажды феяды заблудились в случайно налетевшей на них снежной буре, и из Дельфов должны были посылать им людей на выручку.

Элевсинские мистерии, наиболее славные из всех эллинских, уходят корнями в глубокую старину, может быть, до гомеровскую даже. Но в то время, о котором мы теперь говорим, они входили в государственный культ Афин. Сам верховный архонт-басилей ведал это учреждение и руководил церемониалом (из рода Евмолпидов), и причем он же давал объяснения предметов и картин, предлагаемых для созерцания.

Необходимые в культе «богинь» факелоносец и герольд должны были принадлежать тоже к одному из старейших аттических родов, и среди демократических Афин это учреждение представляло собою странное соединение родовой старины с своеобразной формой идеи равенства, да еще такого, которое оставляло далеко позади себя «исегорию» Пникса. Люди «елевсинского таинства» не были людьми фил, классов, полов, состояний, народностей, это были создания, «равно подлежащие смерти и загробному воздаянию».

По преданию, Деметра, у которой подземный бог унес ее единственную радость — дочь Персефону, сама установила свой таинственный элевсинский культ; сокровенная часть его происходила в священной ограде, куда, под условием чистоты от кровавого преступления, равно допускались люди всех возрастов и состояний, мужчины и женщины, эллины и варвары, только уже в качестве не феатов (т. е. зрителей), как в амфитеатре, или — еще выше — эпоптов (т. е. созерцателей), <а> лишь <как> мистов, или благоговейно молчащих. Что именно показывалось посвященным в огромном чертоге, созданном по плану Иктина, мы в точности не знаем. Это было, может быть, что-нибудь вроде живой панорамы, которая при пении и музыке проводила перед тихими рядами созерцаю-

¹⁶¹ Афинское название менад, вакханок, участниц Дионисовской оргии.

ших похищаемую Кору и скорбную Деметру, ее блуждания и обречение потерянной дочери. Это была всегда одна и та же простая драма, но ее обаяние и заключалось, по-видимому, именно в этой незамысловатости и глубоко символической элементарности составлявших ее явлений радости и страдания, смерти и воскресения. Для афинского народа не было зато процессий дорожке элевсинских, и я уже говорил о той радости, которую доставил афинянам Алкивиад, когда в 408 г., после нескольких лет перерыва, они могли, под его эгидой и несмотря на грозный Декелейский лагерь, опять совершить трогательный «путь Деметры» по священной дороге в Элевсин с преднесением драгоценного идола Иакха (Зевсова сына, одного из царей «преисподних»).

Культовый элевсинских мистерий жил еще в эпоху цезарей, и не только жил, а хранил свое обаяние. В эпоху цезарей среди посвященных бывали, конечно, и христиане, но афиняне были неумолимы к непосвященным, и во II в. античной эры казнили нескольких акарнанцев за то, что они прошли в актеры, не имея на то право.

Особенность воздействия мистерий на присутствующих в чертоге, несмотря на целые века культа и десятки поколений эллинов, остается для нас неизвестной: можно предполагать смену световых эффектов, был, несомненно, и жреческий дидактизм, но в основе лежали, по-видимому, и не декорация, и не драма, и не традиционное объяснение, а пафос, может быть, самовнушаемое какое-то предвкушение загробного воздаяния чистоте¹⁶².

Если оргазм был для псевда лишь лицемерной формой разврата, то общепризнанное и торжественно-великолепное тайнодействие вызывало скептика на пародию. Алкивиад и его симпоты, в кругу, конечно, более испуганных, чем образованных зрителей, представили как-то мимически актеров элевсинской драмы: гиерофанта, дадуха и керика. Эта проделка стоила не только голов нескольким Евпатридам, но и афинскому государству чуть ли не целого флота; вероятно, были пародии и гораздо более дешевые, — но во всяком случае ни одна из них не поколебала ни обаяния, ни достоинства элевсинских мистерий, которых хватило на всю античность.

Во второй половине пятого века в Элладе, помимо официально признанных культов, распространялись и тайные, причем некоторые из них, чаще и чужестранного происхождения, входили даже так глубоко в народное сознание, что создавали секты, а среди более образованной части общества своеобразно влияли даже на литературу. Таков был ор-

¹⁶² См. слова Аристотеля, по цитате Синесия, о мистериях вообще: οὐ μαθεῖν τι δεῖν, ἀλλὰ παθεῖν (В<urckhardt>—Oeri, a. a. o., II, 1924 f.).

физм, сильно распространенный в Афинах не только в пятом, но даже в четвертом веке, когда процессии орфиков совершались открыто на городских улицах. В орфизме как общественном явлении следует различать разнородные элементы: корнями он уходит во фригийские верования, и магические формулы орфиков еще в VI веке указывают на эту связь, но смысл ее был уже не ясен посвященным; исконные имена божеств: гюес, аттес, сабо стали междометиями, носителями возбужденного чувства, призывом к очищению или сознанию своей греховности¹⁶³.

На орфизме сказалось и влияние Гесиода: вместо «конкретно-жизненного», вместо вида родины, залитой солнечным светом, которая составляет предел желаний мертвого Ахиллея, Гесиод устремлял фантазию своих читателей к прошлому и будущему, он говорил им о елисейских полях и островах блаженных, — причем эта жизнь, с ее непосредственностью, как бы меняла у него свое обличье, ее черты становились резче, на них ложились складки и набегали тени... Греческими словами и метрами облекается у него новый и еще далеко не ясный человеку интерес к его мистическому я, освобожденному от уз телесности и конечности.

В конце VI века в Афинах, при дворе Гишарха, жил замечательный человек, гадатель и поэт Ономакрит. Обвиненный в фальсификации оракула, Ономакрит был изгнан из города Паллады, но влияние его на дальнейшую судьбу орфизма, который через тысячу лет после него еще составлял предмет непосредственного интереса философов, было громадное: воспользовавшись для этого учением Пифагора, он первый, по видимому, «рационализировал» и привел в систему разрозненные явления чужеземных культов и поэтических фантазий. Таким образом, с начала V века орфизм имеет уже определенную и притом чисто эллинскую космогонию и свое нравственное богословие. Теперь афиняне могут воспитывать свое религиозное чувство не только по поэтическим сказкам и храмовым изображениям, не только в связи с традиционным участием в домашнем и общественном культе, но по книгам, где истина связывается уже не с силуэтом или анекдотом, а с формулой или символом: блеск религии олимпийцев сменяется в орфизме сосредоточенной стро-

¹⁶³ Литература об орфизме: *Aglaophamus; sive, De theologiae mysticae Graecorum causis libri tres* / Scripsit Chr. Aug. Lobeck. Regim<ontii> Pruss<orum>. 1829. P. 229–783; K. Fr. Nägelsbach. *Die nachhom<erische> Theol<ogie des griechischen Volksglaubens bis auf Alexander>*. Nürnberg, 1857. Lecst. Absohn. 26; J. Burckh.—J. Oeri², a. a. o., II, S. 178 ff.; *Hist<oire> des rel<igions> de la Gr<ece> ant<ique>* par Alfr. Maury. T. III. P., 1859. P. 300 ss.; Th. Gomperz. *Griech. Denker*. I. Leipzig., 1896. S. 65–81; *Eurip. der Dicht. d. gr. Aufkl.* v. Willh. Nestle. Stuttgart, 1901, s. Reg. S. 558; Jules Gerard. *Euripide R. d. deux monoes* 15 febr. 1896. P. 756 ss.

гостью настроения, а место фантазии и праздничной радости заступает заботливое отношение орфика к обрядам, аскеза и самопроверка. Требования нравственной чистоты, воздержание от мясной пищи и несколько высокомерная отобщенность от непросвещенных — таков портрет орфика 30-х годов V века, который, по-видимому, отнюдь не возмущал афинскую публику, так как «Венчающий Ипполит» Еврипида, представленный в 429 году, дал поэту первый приз.

Еврипид далеко не единственный среди эллинских поэтов классического вина, <который> подвергся влиянию орфизма. Учение это коснулось и Пиндара, и Эсхила. Но у Еврипида был, как мне кажется, затронут орфиками главным образом его литературно-художественный интерес. Этого трагика привлекали экзотические и философские элементы орфического вероучения. Так, несомненно, что Еврипида интересовал пантеизм орфиков. В его «Критянах» мы находим следы веры в Зевса как начало, середину и конец всего сущего. Хор жрецов взывает в этой трагедии к богу с такими словами: «Это ты среди богов неба владеешь скипетром Зевса, а в преисподней¹⁶⁴ делишь с Лидом его трон». Всё в «Критянах», и своеобразность мифологических имен, и безбрачие, и белая одежда жрецов, и их безгрешная фруктовая жертва, и молитва их о том, чтобы душе был послан светоч, и самые мысли их, беспокойно устремленные к отысканию «корня зол» и загробному успокоению от муки, — все это характерно для Еврипида, который умел придавать иллюзию пережитости и даже интимности своим экзотическим изображениям¹⁶⁵.

Еще ярче проявилась эта способность в обрисовке Ипполита. Эта категорическая и высокомерная чистота сектанта, его самообладание и способность влюбиться, но только в идею и прозрачный воздух гор, поражают нас своей жизненностью; может быть, наверное, даже не было таких людей, как сын Амазонки, но все эти мысли были переиспытаны Еврипидом, и их воплощение прекрасно, потому что оно олицетворило сознательную муку.

Помимо двух определенных и даже персонифицированных выражений орфизма, в поэзии Еврипида можно найти отдельные следы влияния орфиков: то его Медея, прощаясь с детьми, говорит о «другой форме существования», <то> хор «Алькесты» поет о тщете орфических формул перед силой Ананки. Увлечение орфизмом не лишило Еврипида умственной свободы, но оно не было в его душе и поверхностным: лучшее доказательство этому мы находим в отрывках из «Полииды» и «Фрикса»¹⁶⁶,

¹⁶⁴ Зачеркнутый вариант: «в аду». — В. Г.

¹⁶⁵ A. Nauck. *Tr. gr. fr. Eur.*, 479, 912; cf. W. Nestle, a. a. o., S. 142, J. Girard, a. a. o., p. 757 S.

¹⁶⁶ A. Nauck, a. a. o., 638, 833.

где мысль Еврипида как бы объединила орфизм со столь определительным для Еврипида влиянием философии Гераклита. Вот эти стихи:

Кто знает, не есть ли жизнь лишь смерть,
А то, что мы называем смертью, внизу слывет жизнью.
Кому известно, не должна ли смерть быть названа жизнью,
А жизнь смертью? Потому что люди, которые
Еще видят свет, страдают¹⁶⁷, а почившие
И больше не страдающие, свободны от всякой муки¹⁶⁸.

Рядом с идеализмом имя фракийского аэда освящало и самое грубое суеверие. Орфеотелесты и метрагирты торговали по греческим городам заклинаниями, при помощи которых можно было перегнать несчастье от себя на другого человека, и амулетами от «чужого глаза»¹⁶⁹; самое таинство рано стало вырождаться в мелочную обрядность или рекламную уличную помпу. Демосфен¹⁷⁰, нападая на своего политического противника Эсхина, укоряет его за то, что Эсхин уже взрослым человеком прислуживал матери при ее сборах на орфическую процессию и даже вычитывает ей из книг магические формулы; мало того, он сам вмешивается в толпу поклонников Аттиса и проводит дни среди белых венков, зачарованных змей, экстатических воплей с перспективою награды в виде разбухшего от вина кренделя.

Среди восприимчивого и нервного населения Афин, в котором расчет и даже плутоватость (*graeca fides*) отлично уживались с мнительным и боязливым суеверием, орфеотелест со своими рассказами всегда находил себе пропитание. Феофраст ставит его в этом отношении на одну доску с гадателем по приметам или птицам и отгадчиком снов¹⁷¹.

Нельзя приписывать атеизма Афинам последней четверти V века и в частности злоупотребление принципами софистов, тем более что эти принципы едва ли так скоро могли обратиться в крылатые слова.

¹⁶⁷ Зачеркнутый вариант: «мучатся». — В. Г.

¹⁶⁸ Ср. по поводу этого W. Nestle, a. a. o., S. 143 и примеч. 122, со ссылкой на отрывки Гераклита. Ранее Нестле указание на это находим у J. Gerard, a. a. o., 759. Сравни также выразительную аллитерацию Платона: σῶμα (тело) σῆμα (гробница). Во всяком случае Еврипид был, по-видимому, совершенно независим в своих переживаниях. Название эклектика (см. у Нэгельсб. <Nägelsbach, Carl.>, a. a. o., S. 438) мало к нему подходит.

¹⁶⁹ В некрополях южной Италии отыскивают за последнее время золотые пластинки с орфическими стихами, восходящими к III веку античной эры. Ср. Gompertz, a. a. o., 69.

¹⁷⁰ Речь о вине.

¹⁷¹ Theophrastus. *Characteres*, 16. Ссылка по В.—Oeri, a. a. o., II, 85.

Безбожие обличается еще в одном из гомеровских гимнов в лице тех надменных мужей, которые «пренебрегают Зевсом»¹⁷², и у Феогида, где несправедливые люди, ни во что не ставя бессмертных богов, зарятся на чужое имущество. Но здесь нет еще атеизма не только как принципа, но и как слова. Уже Пиндар и Эсхил полагают основу принципу, употребляя слово *ἄθεος* в применении к греховным людям и явлениям. Только Платон, однако, определенно отличает безбожие (*ἄθεότης*) от высокомерия и несправедливости. Классическая трагедия не раз карает безбожника: таковы у Софокла Тевкр и Креон, которые идут против божественных установлений. Даже героический мир не свободен от этого бунта. Асклепий воскрешает мертвых и падает от молний Зевса¹⁷³. Мученик Кавказской скалы Прометей и первые обитатели преисподней Тантал, Сисиф, Иксион — все это, в сущности, безбожники, а Киклоп Еврипида, с его грубым материализмом, который не хочет и знать о законе богов, несмотря на реально-бытовые черты в его обрисовке, уходит корнями очень глубоко. Его безбожный юмор был известен еще автору «Одиссеи».

Я не могу, однако, обойти молчанием тот общеизвестный факт, что безбожие не поднималось в греческом сознании выше, чем на уровень греха, который, может быть, правда, не лишен привлекательности, как у Беллерофонта, но никогда, даже в Прометее, не стяжает атею мученического венца, а лишь законную кару.

Глубокий знаток античности и вместе с тем оригинальный мыслитель Буркгардт не признает, чтобы даже среди городского эллинского населения когда-нибудь могло существовать неверие в массах: были неверующие, но они оставались только единицами. Мало того, говорит он, народ вооружался на защиту «богов» (процессы нечестивцев), так как неверие грозило культу. Веру незачем было включать в эллинские конституции. Никакой жреческий авторитет и никакая мелочная регламентация не вызвали греческий ум на реакцию. Мифы предоставляли широкую свободу фантазии и мысли, а религия эллинов не требовала ни внутреннего обновления, ни аскезы, и их боги, лишенные колорита «святости», вообще отлично прилаживались к людям и не мешали самому откровенному эгоизму, а эллинский культ так тесно сплелся с наслаждением, что иногда между ними трудно даже провести границу¹⁷⁴.

¹⁷² *Hymn. Apoll.*, 279. См. ссылки у Nägelsbach. *Nach homerische Theologie*, S. 320 f.

¹⁷³ Pindar. *Pyth.*, 3, 55–60.

¹⁷⁴ Таковы мысли Буркгардта; см. особенно II, 212. Нельзя, однако, не видеть в них некоторой парадоксальности: W. Nestle, a. a. o., V ff. Ср. также интересные пара-

Безбожие как принцип принадлежит философии, оно возникло, по-видимому, на почве критики гомеровского мирозерцания. Поэты идут по следам философов¹⁷⁵.

Ксенофан из Колофона (время процветания около половины VI века), — в качестве странствующего поэта покинув свою когда-то цветущую при лидийцах родину, дожил до царствования Дария; предание сберегло нам память о его нападках на религию, при этом не только эллинскую даже. Самый антропоморфизм, с его точки зрения, убивает наивную народную веру. «Боги фракийцев рыжеволосы и голубоглазы, а эфипские боги имеют черную кожу и вздернутый нос¹⁷⁶. Если бы волю и львы, обладая руками, могли, подобно людям, изображать своих богов и создавать произведения искусства, они изображали бы их по своему образу и подобию: лошади — по образу лошадей, волю — по образу волов» (стр. 6). Поскольку скудные отрывки дают нам возможность судить о мировоззрении Ксенофана, это не был, однако, типичный безбожник. Он боролся, скорее, с теорией богопочитания, как она выражалась в общепризнанных авторитетах Гомера и Гесиода, а равно и <с> попытками Эпименида и Пифагора обновить эту религию: «Гомер и Гесиод, — по его словам, — приписали богам все то, что среди людей считается пороком и возбуждает порицание; они же рассказали (нам) о незаконных поступках богов: воровстве, прелюбодеяниях и взаимном обмане» (стр. 7). Метемпсихоза Пифагора вызвала Ксенофана на шутливую народную (стр. 18), и он считает непристойным воспевать на симпосии битвы титанов, гигантов и кентавров, повторяя выдумки предков (стр. 21). Но к богам, по его мнению, следует всегда относиться с почтением (стр. 21), и пусть радуга вовсе не Ирида, а лишь облако пурпурное, фиолетовое и бледно-зеленое (стр. 13), но «афся» все же Ксенофан противопоставляет «благочестивому» (стр. 25), и в основу его мирозерцания <положен> следующий его же афоризм: Един был величайший среди богов и людей, не похожий на смертных ни телом, ни разумом (стр. 1).

Ксенофановское отн<ошение> к религии Гомера и Гесиода проявляется в трагедиях Еврипида очень часто; можно сказать, что оно придало даже определенный колорит отношению поэта к мифам об Апол-

доксы (зачеркнуто «маленького Аристотеля». — В. Г.) начала XX века Houston Steward Chamberlain. *Die Grundlagen d. Neunz. Jahrh.*⁵ I. Münch., 1904; особенно S. 109 f.

¹⁷⁵ Я не решился бы последовать за Tannery, который видит в Ксенофоне не столько философа, сколько поэта и юмориста. См. русский перевод: П. Таннер. *Первые шаги древнегреческой науки* / Пер. Н. Н. Польшовой и С. И. Церетели, профессоров Э. Л. Радлова и Г. Ф. Церетели; под ред. проф. А. И. Введенского. СПб., 1902. С. 130.

¹⁷⁶ Clem. Alex. *Strom.*, VII, p. 711b. Cf. Tannery, a. a. o., 133. Перевод этого и следующего отрывка из книги Таннери в р<усск>. пер. с некоторыми лишь отступлениями.

лоне, Гере, Афродите. Олимпийцы выводились на суд зрителей в лице своих обезволенных, обманутых или осиленных жертв: Геракла, Ореста, Ипполита и т. д. Еврипид вслед за Ксенофаном, отказывается также верить, что один бог нуждается в другом¹⁷⁷.

Глубокое и своеобразное отношение к народной религии афинянин мог найти и в книге Гераклита Эфесского, которого называли Темным. Это был ум не столько склонный к сомнениям и недоверию, сколько высокомерный, «теологический», по выражению Танпери¹⁷⁸. Среди ионийцев он стоял особняком и не искал научной концепции. «Традиции» старинного жреческого рода сказались на мистическом колорите его книги, которую он, по преданию, возложил в храме Артемиды, и его отрывки обнаруживают близость его воззрений богословию мистерий. В основе его богословия лежит несоизмеримость между божественным и человеческим.

У человеческой природы нет разума, у божественной есть (стр. 96)¹⁷⁹. Самый мудрый человек в сравнении с богом — то же, что обезьяна (стр. 98). Самый культ у Гераклита пропитан глубоким и мистическим символизмом. Молитвы, обращаемые к истуканам, он уподобляет разговору с домами (стр. 126) и оплакивание богов несовместным с признанием их богами (стр. 131). Не участвовать же в фаллофориях и не распевать гимнов в честь Диониса он признает бесстыдством (стр. 127). Мудрость для Гераклита едина (он понимает под ней тот разум, что управляет всем через все (стр. 19). Мудрость и желает и не желает, чтобы ее называли именем Зевса (стр. 65).

Уму Гераклита было одинаково противно и стремление к многознанию, которое не сделало, по его мнению, мудрым ни Гесиода и Пифагора, ни Ксенофана и Гекатея (стр. 16), и неверие, благодаря которому божественное остается непознанным (стр. 116).

Влияние Гераклита на поэзию Еврипида было, по-видимому, не только глубоко, но и продолжительно: может быть, оно являлось даже центральным среди тех, которыми определялась его поэзия: по крайней мере, элементы философии Гераклита входят в мирозерцания поэта в ближайшее соприкосновение и с софизмом и с положениями софистов¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Ср. *Herc.*, f. v. 1344; cf. Diels. *Doxographi> Gr<aeci>*, pag. 380 sq.; W. Nestle, a. a. o., S. 126 и 107, с указанием также на софиста Антифонта.

¹⁷⁸ a. a. o., 170.

¹⁷⁹ Отрывки по *Fragm<enta> philos<ophorum> Gr<aecorum>*, c<ollegit>, rec<ensuit>, vert<it>. Fr. gul. Aug. Mullachius, v. I ad ph. Перевод, почти везде, по книге Танпери в русском издании. См. прилож., стр. 59 сл.

¹⁸⁰ Об этом влиянии вообще более всего писал Нестле. См. в указанной уже книге стр. 13, 47 сл., 57, 61, 69, 78 сл. и т. д. и примечания на стр. 387, 393, 418 и т. д.; особенно примечание на стр. 411 сл.

Из двух личин гераклитизма, о которых говорит Гомперц¹⁸¹, может быть, на него сильнее повлияла враждебная авторитетам и радикально-революционная, чем религиозно-оптимистическая и историко-консервативная.

<VII>

Начало философской жизни Афин связано с именем Анаксагора¹⁸², где этот иониец (из Клазомен), пользуясь покровительством Перикла, прожил (приблизительно с 460 года) около тридцати лет. Это был человек из богатой семьи, но он всецело посвятил себя теоретическим занятиям и ограничил свои потребности самым необходимым, предоставив свои поля, пастбища с овцами и имущество сородичам. «Анаксагор, может быть, и не занимался этикой, — говорит Таннери, — но сам он был живым воплощением нравственности»¹⁸³. Сближение имен Анаксагора и Еврипида имеет солидное основание в весьма древней традиции¹⁸⁴, и при этом оно отнюдь не ослабляется тем обстоятельством, что влияние физики Анаксагора на космические представления трагика оказывается, по новым исследованиям, несколько проблематичным: Анаксагор дал Еврипиду его идеал — созерцательной¹⁸⁵ и отобщенно-независимой жизни, а нелюдность и мрачность¹⁸⁶, может быть, была лишь оболочкой, которая в глазах толпы заменяла сущность духовного родства между философом и поэтом.

Анаксагор был последним из ионийских физиков и, кажется, первым из философов Ионии, которые, не удовлетворяясь одним первоначалом Ф<алеса> и Анак<симандра>, возводили мироздание к двум исконностям¹⁸⁷; таковыми для Анаксагора были Материя и Сила (Νοῦς), давшая первоначальный толчок зародышам всего сущего (σπέρματα — впоследствии их, вслед за Аристотелем, стали называть «гомеомерии»). Это были разнообразные невидимые, малые, но бесконечно дробимые частицы ве-

¹⁸¹ Gr. Denk., I, 65; cf. W. Nestle, a. a. o., 414²⁵.

¹⁸² Ed. T. Zeller. *Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung*. I B. II H. S. 974 (871) и. А. 3; Gomperz, a. a. o., S. 169.

¹⁸³ a. a. o., 264.

¹⁸⁴ См. ссылки в биографическом очерке выше.

¹⁸⁵ Eudem<ian>. *Eth<ics>*, I, 5. 1216 с 10. Когда Анаксагора спросили, в каком смысле жизнь имеет ценность, он отвечает: «В смысле созерцания неба и всего миропорядка». Цитирую по Zeller'y a. a. o., 1017, А. 4.

¹⁸⁶ Зачеркнуто: «которую приписывают обоим». — В. Г.

¹⁸⁷ Он, по-видимому, был знаком, однако, с философией Эмпедокла и учением Левкиппа.

щества, и Нус с одного (полярного) пункта стал некогда приводить их во вращательное движение, которое творилось, творится и будет совершаться, захватывая все более широкие круги, и нельзя указать предела его действию. Вращение материальных частей имело ближайшим результатом начальную организацию материи, причем в ней обозначилось две массы: тонкий, теплый, сухой и светлый — эфир, и грубый, холодный, влажный и темный аир (воздух), впоследствии частью охладившийся в воду, землю и камни. Некоторые из камней вращением отделились от земли и, светясь в эфире, образовали небесные тела, причем оказалось, что солнце значительно превосходит размерами Пелопоннес. Луна, по учению Анаксагора, должна быть подобна земле и также имеет не только разнообразный рельеф, но и обитателей, даже жилища.

В связи с своей теорией Анаксагор объяснял естественными причинами и падение метеора в Эгос-Потамах (в 428 г.). Растения, животные, люди оживляются и одухотворяются той же исконной силой, которая, хотя и является понятием строго физическим, наименована была символом, взятым из психологии, — «Разум» (Νοῦς)¹⁸⁸.

Анаксагор не обучал афинян за деньги, как его современники, фракиец Протагор и островитянин Гиппократ (из Хиоса), хотя книга его «О природе» была, кажется, распространена в Афинах. Предание приписывает Анаксагору определенно рационалистическую точку зрения на исключительные явления природы¹⁸⁹, но он вовсе не афишировал своего вольнодумства¹⁹⁰. Едва ли также можно приписывать ему параллели между его астрономическими понятиями и народной верой. Может быть, он дал первую попытку морализировать гомеровские мифы, но миф никогда не был в умах афинян чем-то каноническим¹⁹¹, а трактовка их в смысле иллюстраций к понятиям «добродетели и справедливости» никого, конечно, не могла оскорбить. Физик и математик по всем своим серьезным интересам, создатель системы, которая ничего не говорила фантазии, Анаксагор стоял в стороне и от поэзии, и от других философских

¹⁸⁸ Отрывки Анаксагора. Cf. Mull., a. a. o., I ad. ph., ср. также книгу Tennery в русск. переводе, уже указанную выше, стр. 263 слл. и прилож. 82 слл. Кроме того. Ed. Zeller. *Die Phil. d. Griech. in ihr. gesch. Entwick.* I Th. 2 H.⁵ S. 968 f. Ср. также Nägelsbach, a. a. o., S. 429 f.; Th. Gomperz, a. a. o.; Wellmann. *Pauly-Wissowa*², I, 2076 f. О влиянии на Еврипида у H. Weil, Parmentier, а в новейшее время в указанной книге Decharme и W. Nestle; см. регистры.

¹⁸⁹ Рассказ Плутарха о τέρως; см. предыдущий очерк (Plut. *Per.*, 6). Сравни также L. Diog. <Diogenes Laertius>, II, 11.

¹⁹⁰ Зачеркнуто: «наоборот, это был человек религиозный». — В. Г.

¹⁹¹ Diog., *ibid.* со ссылкой на «Истории отовсюду» Фаворина. Извѣстие, впрочем, маловероятно. См. Ed. Zeller, I. et l. cit.

течений, которые проявлялись при нем уже и в Афинах. Предание заставляет Еврипида быть питомцем Анаксагора, но оно не заставляет этого философа интересоваться театром (что приписывается, например, Сократу). Ни елеец Зенон с его диалектикой, ни софистические тезисы Протагора не затрагивают сосредоточенного и идущего своим путем ионийца. Характерный анекдот передает о нем Диоген¹⁹²: кто-то сказал Анаксагору: А тебе и дела нет до отечества, но философ прервал его восклицанием: Молчи! Мне очень много дела до отечества! — и указал на небо. Небо не было для Анаксагора ни поэтической метафорой, ни символом космополитизма, — философ указывал даже не на самое небо, а на эфир, игравший, с его точки зрения, столь важную роль в миростроительстве.

Нет никакого сомнения, что Анаксагор пользовался в Афинах большим уважением и даже авторитетом. Предание сохранило нам даже половицу: «справедливее Анаксагора»¹⁹³. Хотя авторитет Перикла был и велик, но едва ли он бы защитил Анаксагора от обвинений, веда он себя иначе. Обвинением, которое возникло против Кладзоменца в 432 г., он обязан, вероятно, не столько своей книге или поведению, сколько реакционной струе, которая вынесла к этому году наверх такого человека, как Диопейф. С другой стороны, враги вели осаду и против позиции Перикла, и прежде всего в лице людей, ему более близких: Анаксагора, Фидия, Аспасии. По предложению Диопейфа, хресмонога и ярого защитника старой веры¹⁹⁴, в 30-х годах V века было постановлено в Афинах, чтобы против людей, которые не верят в богов или распространяют учение о надземном, возбуждались публичные обвинения (эйсангелии). Кажется, Диопейф имел в виду именно Анаксагора, ибо ему действительно было предъявлено обвинение в атеизме. Анаксагор должен был покинуть Афины и через какие-нибудь четыре года умер в Лампсаксе, где ему дал приют один из самых ревностных его последователей, Митродор.

Если Анаксагор был безбожником лишь по имени, и предание утверждало за ним более почетную славу, то в Афинах, вскоре после его смерти, повторяется другое имя, к которому комедия Аристофана¹⁹⁵ прицепила ярлык атеизма чуть ли не на 800 лет, — это был Диагор, сын Телеклита, родом из Милоса. В молодости Диагор сочинял дифирамбы и был благочестивый человек; на него, по преданию, так подействовал один обидев-

¹⁹² У Анненского сноски не заполнены. — В. Г.

¹⁹³ См. ссылку у Ed. Zeller, a. a. o., 1018 (912, 913), A. 2.

¹⁹⁴ См. литер. ук. в ст. Kirchner и Swoboda *Pauly-Wissowa. R.-Enc.* N. B. v. 5¹, 1046 f.

¹⁹⁵ Aristoph. *Nub.* (a. 423) et *Ranae* (a. 414). Литературу о Диагоре см. Ch. Lobeck. *Aglaophamus*. 1829. K. Fr. Naegelsb., a. a. o. 1857, 430; Th. Gomperz, a. a. o., I, S. 328, 463; указания сгруппированы в статье E. Wellmann. *Wissowa. R.-Enc.* N. B. v. 5¹, 310 f.

ший его клятвопреступник, оставшийся, однако, без божественной кары, что он сделался открытым атеистом. Легенда заставляет его помогать мантийскому политику (ранее кулачному бойцу) Никодору в его законодательной работе. В Афинах он возбудил против себя обвинение в высмеивании мистерий, должен был бежать и умер в Коринфе¹⁹⁶. Для нас несколько неясно, благодаря чему Диагора, по-видимому, довольно долго (около 10 лет) продержался в Афинах в столь неблагоприятные для скептиков времена, особенно если скептицизм его, точно, имел столь вызывающий характер.

Диагору приписывали в древности «Фригийское сказание», где, по-видимому, в связи с фригийскими культами высмеивались и афинские попытки поддерживать веру в старых богов. Отрывки других сочинений этого человека, которые сохранились до нашего времени, рисуют его совсем не в том свете, как традиция, идущая от Аристофана: напротив, <они> дышат искренней набожностью¹⁹⁷.

Диагор едва ли оставил глубокий след в афинской жизни: правда, нападки Аристофана обыкновенно имеют в виду лиц, создающих вокруг себя шум, но мы не знаем поэтических произведений, на которые бы милосский дифирамбограф повлиял хотя в той же мере, как Анаксагор на еврипидовское творчество 30-х годов. Из посмертной славы Диагора, основанной, по-видимому, не столько даже на его сочинениях, сколько на ядовитой традиции, нельзя делать заключение к непосредственному влиянию его, может быть, более жгучего, чем принципиально обоснованного атеизма.

Гораздо сильнее и разнообразней в ту же эпоху влиял на афинские умы другой писатель, под конец жизни тоже обвиненный в безбожии. Я разумею Протагора¹⁹⁸.

Традиция обошлась с его именем гораздо лучше, чем с именем Диагора, — его процесс и смерть атеиста не затемнили славы высокого ума, но отрывки из многочисленных и разнообразных сочинений Протагора весьма скудны; они уместятся в тридцать строк, и при этом, хотя между цитатами попадаются и очень характерные фразы, но широкие и разнообразные выводы, которые были сделаны из них впоследствии, несомненно,

¹⁹⁶ По другой версии (*Athen.*, XIII, 611A) он погиб при кораблекрушении, — но здесь чувствуется адаптация к легенде о смерти Протагора: непроизвольн. см. <смерть>, как и самоубийство, кажется, символизировались в уме старого книжника. Нечестивцев разрывали собаки, скептика топил корабль; как огненная смерть Эванды не походила ни на смерть Эанта, ни на самоубийство Федры.

¹⁹⁷ Гопр. Филод. περὶ εὐσεβ. P. 85; *Gr. Denk.*, 463.

¹⁹⁸ См. выше, в первом очерке этого тома.

затемнили для нас концепцию самого Протагора. Это приложимо особенно к одному из тезисов Абдерита: «Всем вещам мера есть человек, бытым, что он суть, и не-бытым, что их ист». Прежде всего как понимать здесь слово человек? Заключение ли в нем родовое понятие или понятие об индивидуальности. В первом случае тезис будет противопоставляться учению элеатов, — причем Мелисс учил, что «сущего мы ни видим, ни познаем», и, т<аким> о<бразом>, суммарно отрицается реальность чувственного мира, а для Протагора масштабом для существования вещей является человек (понятие родовое), человеческая натура¹⁹⁹. Во втором мы имели бы дело с феноменализмом, который осуществился в одной из сократических школ у киренаиков: они стояли на точке зрения, что нельзя говорить ни о вещах, ни об объективном бытии или вообще о существовании, а лишь о субъективных аффекциях. Спор между представителями двух толкований «человек—мера» не завершен и до сих пор, но генерический смысл термина *человек* имеет за собой более солидные аргументы²⁰⁰.

Второй неясный пункт афоризма заключается в слове *ῥε*; его можно перевести и посредством *как*, и союзом *что*; в первом случае речь должна была идти о качестве вещей, во втором — лишь об их существовании, но здесь аргументы чисто филологические сильно склоняют мысль ко второму толкованию.

Я не буду останавливаться далее на богатом выводами и открывающем широкие пути тезисе знаменитого Абдерита, но для людей широкого круга, к которым новые идеи попадают и которыми они усваиваются и развиваются не в качестве диалектически добываемых истин или логических звеньев, или хотя бы афоризмов, а лишь под видом неточных антитез к ходячим суждениям или в виде лубочных иллюстраций текущей жизни, — положение Протагора должно было сделаться источником многих недоразумений. Не только Аристофан, но Платон и Исократ являются для нас неоспоримыми свидетелями того, что тезис *человека—меры* понимался их современниками как признание субъективного произвола, единственным судьей правоты: нечестию и эгоистическим интересам давался полный простор, притом они поддерживались авторитетом высокой мудрости, учености и всеобщего уважения.

Не менее высок и плодотворен в философском смысле, интересен в литературном и скользок в общественном оказался и другой отрывок того же Протагора: «Две речи бывают о каждой вещи, и они противоположны

¹⁹⁹ Следуя превосходному изложению Гомперца в его книге *Gr. Denk.*, I, 362 ff.

²⁰⁰ Однако такой авторитет, как Целлер (а. а. о.³ 1892, I, 2 ss 1095 f.) колеблется относительно выбора между двумя толкованиями. См. у<казатель> лит<ературы> у W. Nestle, а. а. о., 406¹².

одна другой». Джон Стюарт Милль находит, что истинным знанием и убежденностью, действительно достойной доверия, обладает лишь тот человек, который может, с одной стороны, опровергнуть противоположное мнение, а с другой — с успехом защитить от нападений свои собственные. Это положение может быть выведено из тезиса Протагора. Еврипиду тезис Протагора дал интересные драматические комбинации, особенно в его «Антионе», где Дзет и Амфион защищают (и каждый убедительно) один — идеал политической, а другой — созерцательной жизни. В «Финикиянках», где матери приходится быть судьей между сыновьями, «две противоположные речи» Этеокла и Полиника создали интересную драматическую ситуацию. Но на суде и в экклесии, в сделках и разнообразных жизненных столкновениях, при любви к слову, широком развитии риторства в общественной жизни, несомненном сутяжничестве афинян и моральном безразличии эллинских мифов, тезис Протагора давал точку прикрепления и рационалистическое обличье стремлениям, не имеющим ничего общего с исканием истины.

Я далек от того, чтобы преувеличивать влияние идей на массы. Еще более смешным кажется мне винить книгу в развращении человека, будто без книги он не остался бы зверем и литература восприняла его из ангельского состояния. Но падо различать между идеей, добытой трудом и сознанной, и идеей, лишь бегло воспринятой в виде крылатого слова²⁰¹. Протагор, давая могучий толчок развитию психологии, грамматики и диалектики, а также и в сочинениях и через своих учеников указывая новые задачи художественной литературе, в то же время в широких слоях населения, несомненно, множил тот тип людей, которых теперь с укором называют софистами: особенно скользкой оказалась хвастливая мысль — ее приписывали Протагору, — будто слабую вещь (речь, довод) он сумеет сделать сильнейшей. Люди толпы брали от философа то, что им было по плечу и выгодно, но движение, вероятно, распространялось не непосредственно, а главным образом через учеников и читателей: так, упав в воду, камень может взбудоражить ее лишь концентрическими кругами.

Протагор, по-видимому, под конец жизни написал или, по крайней мере, обнародовал книгу, которая оказалась для него фатальной. Предание заставляет философа уже семидесятилетним стариком читать в доме Еврипида свой трактат «О богах». Он вызывает жалобу со стороны некоего Пифодора (около 416 г.), богача и впоследствии участника в первом олигархическом заговоре. Книга осуждена и изданные экземпляры пре-

²⁰¹ Зачеркнуто: «Идея, включенная в цепь ранее нее добытых звеньев, дает новую силу, но слово та же идея». — В. Г.

даны публичному сожжению. Не дождавшись осуждения, Протагор покидает Афины для Сицилии, но по дороге корабль разбивает бурей, и великий человек гибнет вместе с его обломками.

Еврипид, по-видимому, посвятил его памяти своего «Паламеда» (представленного на сцену во время мартовских Дионисий 415 года). Содержание «Паламеда» взято из мифов о Троянской войне²⁰²: Паламед, сын Навплия, один из благороднейших греков и при этом искусный и изобретательный человек, делается жертвой адской хитрости Одиссея, который, тайно зарыв около его палатки некоторое количество золота, дает возможность греческому обходу арестовать письмо, якобы адресованное Приамом Паламеду. Здесь царь предлагает ему столько золота, сколько Одиссей зарыл около его палатки, если он, Паламед, выдаст троянцам греческий лагерь. Письмо доставляют Агамемнону, а тот предъявляет Паламеду обвинение. Находка золота уличает Паламеда, и он умирает, побитый камнями.

Велькер высказал предположение, что у Еврипида Одиссей действовал против Паламеда не из одних личных видов: Одиссей и Паламед были люди двух противоположных станов, и так как Паламед стоял за мир, а Одиссей за войну, то этот последний и задумал скомпрометировать партию своего противника. Как ни остроумна сама по себе эта догадка, но делать из Одиссея Алкивиада Еврипид едва ли имел бы основание: во всяком случае это идет вразрез с восторженным взглядом трагика на Евниатрида. Паламед в виде Никии был бы, может быть, еще менее подходящим не только к гению Еврипида, но и вообще к трагической сцене.

Едва ли есть какая-нибудь надобность видеть в Паламеде вообще трагедию мира. Мы узнаем в ее герое Протагора, не оцененного греками и убиенного ими «соловья муз», хотя этот столь разнообразно искусный (πᾶνσοφος) человек «не причинял никому огорчений».

В защитительной речи Паламед выставлял перед обвинителями свои заслуги: до него жизнь людей была подобна звериной — он дал людям счет, отличнейшую из выдумок. Для безопасности лагеря Паламед придумывает трещотки ночных дозорщиков, для солдат он изобретает игру в шашки, чтобы сократить им томительные дни осады.

Паламед умирает со словами, что «истина погибла ранее него» (αλήθεια на Протагора в этом отношении была бы однако не вполне уместной,

²⁰² О времени постановки: Aelianus. *V. H.*, 2, 8; содержание: Hygin. *fab.* 105. Дальнейшие указания см.: Aug. Nauck. *Trag. graec. fragm.*², 541 sq.; cf. F. G. Welcker. *Die griechischen Tragödien mit Rücks. auf d. episch. Cycl.* Bonn, 1839. 2 Abth. S. 500 f.; J. N. Hartungus. *Eurip. restitutus sive scriptorum etc.*, V. II, p. 250 sq.; Th. Gomperz. *Gr. Denker*, I, S. 353 f.; W. Nestle, a. a. o., s. reg.

т<ак> к<ак> одно из сочинений Протагора называлось именно так — ἀλήθεια — истина). По-видимому, его процесс и смерть в изображении Еврипида произвели на современников большое впечатление. Горгию из Леонтины приписывают апологию Паламеда; речь же Одиссея, в свою очередь, согласно легенде, сочинил Алкидамант, причем письмо Приама, как он остроумно придумал, было послано Паламеду в стреле, пущенной ловким стрелком. Одиссею будто бы удалось его только перенять. Ученики Сократа хотели видеть в Паламеде прообраз своего, тоже безвинно осужденного, учителя.

Но что же заключалось в той книге Протагора, которую афиняне предали огню?

Нам известна только первая фраза трактата: «Относительно богов я не могу знать ни того, что они есть, ни того, что их нет. Много есть мешающего это знать: неясность (ἀδηλότης) и краткость жизни человека»²⁰³.

Если принять во внимание, что Протагор не ставит вопроса о вере, а говорит лишь об условиях богопознания, то можно, судя по этому началу, видеть, что Протагор не посвящал своего трактата ни ксенофоновой критике гомеровских мифов, ни теории атеизма. Самый тон начала, серьезный и торжественный, не наводил и на мысли о возможности какого-либо глумления или хотя бы попытки εἰσφέρειν καὶνὰ δαιμόνια. Но философская критика того времени еще ждала своего Платона: покуда же оценивали мыслителей комики и сикофанты да ораторы на Пниксе или судьи в гелис, так что судьба первого трактата на религиозную тему была решена очень быстро. Через 16 лет после осуждения книги Протагора присяжными большинством голосов присудили семидесятилетнего Сократа выпить яд. Этот факт создал первого мученика идеи и открыл собою блестящую легенду Сократа, от обаяния которой мы не можем освободиться и до сих пор. Но аутодафе над книгой Протагора было, по моему, ужаснее, чем осуждение Сократа, потому, что уничтожая творческую мысль, оно оставляло взамен одно пустое место.

Сократ (467–379), сын скульптора Софрониска и акушерки Фенареты, сам в молодости занимавшийся скульптурой, был не только прирожденным афинянином, но и сознательным и добрым афинским патриотом: мало того, что он тщательно исполнял обязанности гражданина, поддерживая всей жизнью и подкрепив даже смертью свое уважение к демократическому строю города (в войске под Делием, Потидеей, Амфиполе, а потом пританом в Аргинусском процессе и, наконец, в тюрьме), но с его именем и легендой соединяются вполне определенные суждения

²⁰³ Fr. Guil. Aug. Mull<achius>. *Fr<agmenta> phil<osophorum> Gr<aecorum>*, V. II, 130 sq.

о любви к отечеству, в которых нельзя не видеть требований его нравственного существа.

«В чем же твоя мудрость, — читаем мы в “Критоне”, — если для тебя остается тайной, что отечество достойнее почитания, чем отец и мать и все предки твои, взятые вместе, что отечество и почтеннее и священнее их и одно пользуется высшим уважением и у богов, и среди людей, которые рассудительны; если ты забываешь, что надо почитать отечество, даже когда оно охвачено гневом, что надо уступать ему, что надо неустанно искать случая быть ему полезным даже более, чем если бы это был твой отец, что надо, наконец, или суметь преподавать ему лучшее или, исполнив его приказание, с терпением ожидать (результатов) этого исполнения».

Таковыми словами платоновский Сократ отозвался на предложение бежать из тюрьмы в течение месяца, протекавшего между смертным приговором и его исполнением.

Но Сократ был не только патриот. Главною чертою его была религиозность: бог был для Сократа нравственной потребностью, он был для него высшим определением человеческой жизни, Сократ по самой природе своей не мог бы остановиться на безнадежном скепсисе Протагора, признав богопознание метафизической задачей. Для Сократа вся жизнь человека должна была осуществлять божественный принцип *добродетели* (справедливость была в его учении лишь ее видом) в силу вложенного в человеческую душу стремления к приобретению истинного знания, и учение Сократа являлось таким образом как бы осуществлением принципа жизни, как он его понимал: оттого Сократ и не писал книг, а лишь неутомимо учил окружающих рассуждать, искусно вовлекая в разговор людей, которые казались ему, независимо от общественного их положения, или более привычными к абстракции, или по молодости более восприимчивыми к идее необходимости добиваться истинного знания.

Педагогическая работа Сократа и возбуждаемая им самостоятельность афинской молодежи брали за исходный пункт самые законные стремления каждого человека «познать самого себя» и опирались на авторитет дельфийского оракула, с другой же стороны, основной принцип Сократа гласил, что истинное знание нужно человеку потому, что оно адекватно самой добродетели, т. е. желанию творить доброе, а эта добродетель Сократа определялась тем же словом, что и отеческая. Наконец, сам Сократ был образцовым гражданином, исполнял все предписания культа и вообще старался как можно меньше выделяться из толпы. И, несмотря на все эти обстоятельства, конечно, в Афинах не было человека, который в большей мере, чем Сократ, разрушал старый строй, поскольку этот строй держался на доверии к традиции, суеверии, на самонадеянности призрачного знания.

Редкая выносливость, общительность, умеренность и умение приспособиться ко всяким физическим условиям, энергия и любовь к слову — все было в Сократе характерно афинское, даже обиходное, и вместе с тем не было человека более оригинального и столь же несоизмеримого с окружающими, чем тот же Сократ. Это была не только яркая индивидуальность, но как бы живое олицетворение самого принципа индивидуализма, в смысле человеческого права на свободное суждение, возведенного в неудержимую потребность, возведенного даже в долг, только слишком отрадный и светлый, чтобы быть суровым.

Все, что могла создать демократия, и притом не практика демократии, которой приходилось считаться с условиями жизни и исторического роста, вне ее лежащими, и так часто страдать от случайностей «принципа большинства» или «психологии масс», нет, — все, что только могла создать идея, и даже мечта демократии, напало себе полный расцвет в личности и мировоззрении Сократа.

Это был прежде всего рационалист, только рационализмы Клизфена и Гекатея, Перикла и Гипподама получили у него особый и глубоко жизненный оттенок: размышление и методическое (путем исключения) определение понятий имело для Сократа не метафизическую, а нравственную, ценную для всех граждан, цель. Но мало было трудов и идей рационалистов, необходима была совокупность всех исторических условий и фактов народной психологии, насколько мы можем проследить их в глубь времен, чуть ли не до ионийца Одиссея, через купцов и мореходов, раскинувших влияние и культуру эллинов между Роной и африканским побережьем, чтобы V век произвел Сократа.

Самое отношение к Афинам надо признать в Сократе идеальным, т. е. именно таким, каково оно должно было быть у всякого гражданина Афин в V веке. Именно к Сократу вполне можно применить классические слова Буркгарда²⁰⁴ о людях, для которых полис был не только «их родина, дом, место, где им лучше всего живется и по которому они тоскуют в разлуке, и это даже не город, которым эти люди гордятся, несмотря на все его недостатки, но некое высшее и божественно властное бытие (Wesen).

Именно в Сократе осуществились вполне Равноправие и Свобода слова, которые были главными принципами перикловской демократии, так как эти принципы были не вне его, а составляли нравственную его природу, условие его духовного бытия. Сократ готов был учить всякого и сам рад был учиться у всякого: у гостей Агафона настолько же, как у

²⁰⁴ Burckh.—Oeri, a. a. o., I, 81; ср. также Dr. Rob Pöhlmann. *Sokrates u. sein Volk*. 1899. S. 46.

метэка или куртизанки; мало того, по его мнению, всякий человек может стать добрым, развивши свои умственные силы, свобода же и равноправие в его глазах давали сообществу людей возможность помогать друг другу в достижении добродетели.

«Афины как школа Эллады», этот известный лозунг демократии в ее лучшую пору был также осуществлен Сократом в высшей мере. Сократ был учитель по преимуществу, и притом не только афинян, но через созданные им и, в свою очередь, ставшие центрами философские школы он же определил истинную роль афинского гения и в общей культурной экономике человечества.

Но хотя Сократ и был плоть от плоти и кость от кости афинской демократии и созданного ею просвещения, для политического обихода Афин это был все же человек гораздо более опасный, чем Протагор или Продик: прежде всего он был свой, в нем не было решительно ничего экзотического, притом в качестве своего человека он глубже проникал в природу, легче усваивался средой, чем все эти заезжие философы из фракийцев, островитян или италиотов. Во-вторых, принципы Сократа никого не отпугивали, так как они были вполне благонамеренными. Ведь по виду Сократ только учил искать добродетель, истинно чтить богов, быть сознательно мужественным да не браться за дело, к которому не имеешь специальной подготовки. Разве это шло против отеческих законов, если Сократ заставлял высказываться какого-нибудь преждевременного честолюбца или вынуждал самонадеянного ученика софистов показывать всем воочию свою скороспелую, призрачную, никому не нужную, хотя и за деньги купленную, мудрость? Но именно эта-то неуловимость, это отсутствие не только письменной формы учения, но и всякой догмы, чего-либо ясно осязаемого резко отличало<сь> по виду от того, что составляло обычные предметы бесед для людей, не занятых политикою и торговыми сделками, именно это-то и могло возбудить опасения подозрительного демоса. Завистники Сократа и вообще его недоброжелатели тоже не молчали, а число их к тому же постоянно возрастало. А Сократ был горд. Это была не столько гордость человека, сколько прямолинейное высокомерие, сознающее свою силу мысли, — если искать аналогии, то можно сказать, что философ был горд, как афинский демос, в котором ораторы порицали его дисбулию, т. е. стремление заключать союзы, при которых он, афинский демос, отнюдь не ждал чужой помощи, а лишь гарантировал свою. В гордости Сократа не было ничего смешного и заносчивого, она была законна и логична, но тем более оскорбляла она людей, которые не руководились в жизни ни законами, ни логикой. Как бы то ни было, в обществе, где, по выражению Фукидида, происходила «пероценка всех ценностей», Сократ с его неустанным и даровым «повиванием» рож-

даемых людьми понятий, Сократ, для которого добродетель — что <бы> он там ни говорил — а все же лежала не *вне людей*, т. е. в законах отцов и авторитете общины, а внутри их, откуда они и должны были ее добывать рассуждением, такой человек должен был казаться куда опаснее софистов. Те, по крайней мере, учили за деньги, т. е. не первого попавшегося, и писали книги, значит как-никак, а выдавали на себя документы.

Своеобразный софист вызвал сначала неудавшуюся пародию Аристофана, а затем, гораздо позже, положим, и процесс. Один из поводов к публичному обвинению лежал, по-видимому, в том, что Сократ допускал веру в демонов, т. е. существа, посредствующие между божественным и человеческим миром. В себе философ тоже ощущал присутствие какого-то демонического начала: оно заявляло о себе особым, непререкаемым голосом, который, по признанию Сократа, удерживал его от того, что не следовало делать, или — здесь предание расходится, — наоборот, внушал ему должную решимость. «Демона» Сократа нельзя сводить ни на слуховую галлюцинацию, ни на так называемый голос совести. Может быть, это был лишь символ диалектически неразрешимой части его духовной природы.

Как бы то ни было, в последний год пятого в<ека> люди толпы, традиции и здравого смысла выставили против Сократа публичных обвинителей, между которыми был и поэт (Мелит), и ритор (Ликон), и демагог (Анит). Сократа обвиняли в том, что он учит не почитать афинских богов, а вводит своих, новых, а также будто он развращает юношество. «Апология» Платона остается бессмертным по красоте папегириком учителю и интересной страницей бытовой жизни эллинского мира, но Сократ все же большинством (280 гол<осов> прот<ив> 220) был признан виновным и осужден на смерть большинством голосов (360 против 140)²⁰⁵.

Трагики под защитой мифа и праздничного настроения в амфитеатре тоже время от времени допускали в свои пьесы довольно смелый религиозный скептицизм. Так, Аристофан в 425 г. впервые поднимает на смех Еврипидова «Беллерофонта» (428–425 г.), и если верить преданию, то этот нечестивец, действительно, речами и самым видом своим на сцене произвел в свое время между зрителями немалое смущение. Автор тра-

²⁰⁵ Литература о Сократе: кроме «Диалогов» Платона и «Меморабилей» Ксенофонта, сочинений Аристотеля, Лаэртия Диогена и Плутарха, см. вышеназв<анное> сочинение Ed. Zeller. *Philos. d. Griechen*³, II B; A. Fouillée. *La philosophie de Socrate*. 1874; Th. Gomperz. *Gr. Denker*. 6 Lief. S. 36 ff. (3 Capit.); Dr. Rob. Pöhlmann. *Sokrates u. sein Volk*. 1899. По-русски о Сократе писал, между прочим, Н. Марков. *Значение Сократа как философа-педагога* (Ж. М. Н. Пр. 1871) — эту ссылку беру из статьи Э. Л. Радлова в 60 т. Энцикл<опедического> сл<оваря> Брокг<ауза> и Эфр<она>. (Дальше в рукописи не хватает нескольких листов. — В. Г.)

гического «Беллерофонта» был в это время в расцвете своей литературной деятельности, но пьеса, по мнению новейшего исследователя поэзии Еврипида, была в существе своем как бы актом авторского признания и взглядом на пережитую молодость²⁰⁶. Сомнения, правда, не оставили Еврипида и позже, но они, выиграв в горечи и глубине, потеряли в самонадеянности²⁰⁷. Восстановить хотя бы в общих чертах ход действия в трагедии «Беллерофонт» исследователям не удалось до сих пор.

Кажется, Беллерофонт обладал чертами меланхолика и был не чужд даже мизантропии. Предание вырвало из его трагической роли и сомнение в том, что море точно управляется богами, и даже сомнение в существовании богов. Бутафорский нечестивец, ввиду того, что его ожидали тут же на сцене не только кара, но и посрамление, мог говорить, конечно, свободнее, чем софист. Но Беллерофонт не суждено было успокоиться на скепсисе или хотя бы отрицании, вопрос нравственного характера о торжестве зла в мире оказался для него не только жгучим, но и роковым. В результате его безумный полет на Пегасе туда, к солнцу, и печальный конец. Ниспровергнутый со своей дерзкой высоты Беллерофонт являлся на сцену в жалком, искалеченном виде: он хромает, и его загрязненная одежда висит клочьями. Но внутренне он исцелен — и умирает счастливый, в нем просыпается его исконная пажобность и дружелюбие к людям, затертые было только что пережитой им мятежностью. Таков конец пьесы, по Велькеру, к которому присоединяется и Нестле. Я не знаю, так ли это. Может быть и так, но дело сценического произведения не может быть сведено к концепции, замыслу поэта. Судя о ней, надо считаться и с эффектом, с резонансом, с волнением воспринимающей пьесу среды. Послушаем в этом отношении Дешарма, который посмотрел на пьесу именно с этой стороны.

«Защитники Еврипида могли уверять, что выходки Беллерофонта против богов не шли вразрез с традиционным характером этого героя. Но стихи вроде тех, которые помещены у Наука (286), все же вызывали среди друзей тайную тревогу, в иных громко протестовали даже их религиозные чувства; развязка не удовлетворяла зрителей, и они покидали театр под тем впечатлением, может быть, и неосновательным, но неизбежным, что Еврипид устами Беллерофонта оскорблял богов».

²⁰⁶ W. Nestle, a. a. o., 246 f. Cp. также превосходный анализ отрывков у F. G. Welcker'a *Die Gr. Trag. u. s. w.* Bonn, 1839; J. A. Hartmann, a. a. o., I, 388–401. II Abth. S. 785–800. Кроме того, см. рег. в книге Nestle, со ссылками на Gomperz'a и др. У Decharm'a *Eur. et l'esp. de son th.* интерпретация стр. 235 сл. Дальнейшая литература у Bethel-Pauly-Wissowa. *Real-Encyclopädie der class. Alterth.* B. III, 241 ff.

²⁰⁷ Зачеркнуто: «потеряли в мечтательной дерзости». — В. Г.

Но у афинян были в конце века драмы и более определенно философского и риторического характера, чем еврипидовская, они принадлежали Критии, одному из «тридцати», которого считали учеником Сократа, хотя это был, скорее, питомец софистической школы. Крития обладал разнообразными талантами — он был и политиком, и оратором, философом и поэтом, писал и стихами и прозой, и произведения его в области художественной литературы носили явно тенденциозный характер. В одной из его драм, «Пирифой», изображалось сошествие в ад, которое этот герой предпринимал вместе со своим другом Фесеем. Центр тяжести этого произведения лежал, по-видимому, в его идейной стороне, в тех натурфилософских и моральных вопросах, которое оно затрагивало, хотя и без резкости. Драма не дошла до нас полностью, но древние знали ее под именем Еврипида, и, кажется, этот трагик сам включил ее в одну из своих тетралогий²⁰⁸.

В другой трагедии, «Сисиф», которая, впрочем, кажется, никогда не была на сцене, Крития проявил атеизм. Его теория приближалась к учению Продика. Этот знаменитый софист занимался, между прочим, вопросом о происхождении религии: боги сводились к человеческой выдумке, их начало лежало в свойстве человека обожествлять все, что ему полезно: солнце и луну, реки и источники. В Деметре люди поклоняются хлебу, а в вине Дионису; как Посейдон обожествил для них воду, а Гефест огонь²⁰⁹.

Крития в своем «Сисифе», по преданию, излагал, как произошел самый культ: он явился делом древних законодателей, мудрецов, которые, видя, что законы и власть могут карать лишь сравнительно тесный круг преступных деятелей, сумели внушить людям, что за ними неусыпно следит тайное и всесильное существо, располагающее страшными перунами. Крития оставил по себе славу безбожника не менее яркую и, может быть, более обоснованную, чем Милосец, автор дифирамбов и Мантинейской конституции.

В политическом мире Крития играл не вполне еще выясненную роль. Это был, по преданию, резкий реакционер, ненавистник демоса, тиран, игравший в попытке тридцати такую же роль, как Фриних в комилоте 411 года. Но Аристотель, хотя он и не упоминает Критию наряду с Ферам^{ен}ом в числе трех лучших людей V века, по-видимому, серьезно относился к памяти этого разностороннего человека²¹⁰ и признавал возмож-

²⁰⁸ См. Th. Bergk. *Gr. Literaturgesch.* III aus d. Nachl. herausgeg. v. G. Hinrichs. Berlin. 1884. S. 612 s.

²⁰⁹ Прodik оказал сильное влияние и на творчество Еврипида; указание см. у W. Nestle, a. a. o. Даже в посмертной трагедии нашего поэта, «Вакханках», он вспоминает об учении Продика: см. ниже в третьем томе этого издания.

²¹⁰ См. лит. Wilamowitz *Arist. u. Athen*, I, 131 f., 165.

ность похвальной речи в честь Критии²¹¹. По-видимому, на Аристотеля в этом отношении повлиял авторитет Платона, который высоко ставил ученость и талант Критии.

Как писатель, Крития, по-видимому, был доступен в свое время лишь немногим и мало читался; как политический деятель, подобно Алкивиаду, он не укладывался в традиционные рамки: если Ферамен оставил нам²¹² блестящую критику афинской демократии, с точки зрения отеческих преданий (хотя и *cum grano salis*, конечно), то Крития был в политике скорее парадоксалистом. «Отеческая конституция была, — по мнению Виламовица, — совершенно неинтересна для этого человека без всяких убеждений (*gesinnungslos*), если он конспирировал с голью против аристократов, тайно с демократами призывал Алкивиада и сочинял “Сисифа”, чтобы принять тиранию из рук Лисандра». Но, может быть, мы не имеем достаточно критически проверенных данных, чтобы характеристика эта не казалась односторонней.

Вернемся на минуту к характеристике человека, под знаменами которого Крития выступал в литературе едва ли не с наибольшим успехом, т. е. к Еврипиду. Никогда художник, насколько нам известно, в его творчестве не давал себя осилить ни философу, ни ритору: Еврипид не учил, он переживал или думал вслух в привычной и покорной ему художественной форме. Поэтому его пьесы чаще оставляют в нас и теперь сомнения, чем дают определенные ответы или обнаруживают извне воспринятое и застывшее мирозерцание. Но было бы большой ошибкой допустить в Еврипиде моральное безразличие софиста, хотя бы в художественном обличье этот человек не просто искал как пытливый ум истины, он, подобно Сократу, чувствовал потребность в моральном законе и не мог при этом уже как драматический художник остановиться на агностицизме, скепсисе или безразличии. Для Еврипида было мало одной *ананке* орфиков, ему нужна была *дики* — как идея верховного правосудия; мало того, в этом кардинальном термине античной этики Еврипид, единственный из аттических трагиков, сумел разграничить принципы *справедливости* и *возмездия*²¹³. Для Эсхила в конце концов преступник всегда оценит силу оскорбленной им правды и нарушенного его дерзостью равновесия. У Софокла *дики* имеет мифическую окраску²¹⁴, но не так смотрит на нравственный закон Еврипид. Подобно Теракли-

²¹¹ Интерес<но> прим<ечание> Arist. *Rhet.* III, 1416^b.

²¹² Так думает Виламовиц.

²¹³ Зачеркнуто: «Справедливость имманентна, она творится помимо того, награждается ли доброта, карается ли злоба». — В. Г.

²¹⁴ Это сближение принадлежит W. Nestle, a. a. o., 152.

ту²¹⁵, он признает нравственный закон имманентным: зло в человеческом мире существует вне прямой связи с силой божественной правды.

Я напомним в связи с этим взглядом сцену между Крентом и Тиресием в «Финикиянках»²¹⁶. Тиресий только что предсказал фиванскому царю, что для спасения города он должен пожертвовать сыном — Менекеем. Крент обнаруживает неожиданное малодушие:

Тиресий
Иль наш Крент богами подменен?

Крент
(обнимая сына)
Иди, старик. Гаданий нам не надо...

Тиресий
Иль истины не стало на земле
С тех пор, как ты несчастием постигнут?²¹⁷

<VIII> <?>

Я не буду останавливаться далее на анализе разрушительной и созидательной работы умов конца V века, поскольку эта работа проявилась в учении философов и трагедиях их учеников.

Настоящий очерк оставляет в стороне область чисто научных работ, <оттого> я не коснусь здесь подробнее ораторов или Фукидида, творца исторической науки. Для характеристики эпохи мне хотелось бы побыть хоть немного еще в мире комедии²¹⁸, которой до сих пор мы касались лишь мимоходом.

Аристофан был писателем еще более отзывчивым, чем Еврипид. Комик был сыном Филиппа из дема Кидафины, который входил в состав филы Пандиониды²¹⁹ и принадлежал зажиточной семье. Может быть, отец Аристофана или сам <он> были на Эгине клерухами — и это было един-

²¹⁵ Th. Gomp. *Gr. Denk.*, II, 6 сл.

²¹⁶ См. третий том этого издания.

²¹⁷ Ἀπόλλων ἡ ἀλήθεια, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς *Phoen.*, 922 et ant.

²¹⁸ Зачеркнуто: «в области так называемого чистого искусства...». — В. Г.

²¹⁹ Литература об Аристофане собрана в превосходной статье Каибеля *Aristophanes* — Pauly-Wissowa>. *R<eal>-Enc<ycl> N<eue> B<earbeitung>*. В. II, 971 ff. Ср. также Bernh<ardy>. *Grund<riss>*³, II, 2 Abth., 622 сл.; Th. Bergk, a. a. o., IV, 71 ff., W. Chr<ist>. *Gr. Literaturg. <Geschichte der griechischen Literatur>*, S. 221 f. Издание v. Velsen (1869—1883, еще не конченное) и Blaydes (большое, в Галле, 1880—1885).

ственным поводом для баск о чужеземном происхождении Аристофана, против которых Аристофан, насколько нам известно, и не защищался. Год его рождения определяется постановкой его первой комедии «Сотрапезники» (Δαιταλῆς), с которой Аристофан выступал, кажется, не самостоятельно — он был еще тогда совсем молод: если допустим, что <ему было тогда> лишь с небольшим 20 лет, то год его рождения должен упасть где-нибудь около половины V века. Δαιταλῆς были поставлены в 427 году. Комедия эта не дошла до нас, но мы знаем кое-что об ее содержании: уже и там новое софистическое воспитание противопоставляется традиционному, и симпатии Аристофана склоняются к старшему сыну, воспитанному по старине, в традициях отеческой σοφροσύνη. Это как бы эскиз к классическим «Облакам» с пародией на Сократа.

Но уже во второй комедии, ободренный успехом («Сотрапезники» получили второй приз), автор выступил с резкой политической сатирой. Новая комедия называлась «Вавилонцы», и здесь, на городских Дионисиях, перед огромной публикой, в числе которой было немало союзников — они привозили к этому времени дань, — молодой комик смело бросил в глаза державному демосу упрек в эксплуатации союзников. Демос являлся на сцене жестоким хозяином, и союзники-рабы²²⁰ присуждались им к работе на «стукальной мельнице». Резко затронут был демагог, тогда уже Клеон, и другие власти. Неизвестно, как именно пострадал Аристофан от царя на Пниксе, но с этого времени цензура комедий, назначавшихся для весенних Дионисий, по-видимому, становится строже: для большей свободы своих пародий комикам приходится выступать перед афинской публикой уже на Ленеях.

В следующей комедии Аристофана «Ахарняне» (425 г.) поэт дает мастерское изображение среднего мирного человека — крестьянина Дикеополиса, который должен вести состязание с целым хором: он отвоевывает себе одну половину обжигателей угля из «Ахарнян», которые больше всего страдают от вражеских набегов и потому склонны питать мстительные чувства, но другая часть хореvтов, с Ламахом во главе — он, разумеется, и есть мишень для насмешек комика — остается непримиримой.

Против Клеона лично (он является в комедии под видом Пафлагонца) направлены были «Всадники» (Леней, 424 г.). Это раб старого и капризного демоса и тиран для своих сотоварищей поневоле. Состязание Пафлагонца с колбасником, особенно в присутствии демоса, полно блестящего комизма. Пьеса, несмотря на беззащитное трактование столь сильного человека, как Клеон, получила первый приз.

²²⁰ Зачеркнуто: «без устали вертели жернова на его мельнице». — В. Г.

Тем глубже было огорчение Аристофана при полном провале, который постиг его «Облака» на Дионисиях следующего, 423 года. Аристофан сам очень гордился своими «Облаками», где осмеивалась софистика со стороны поощряемых ею безправственности и безбожия. Но зрителям, очевидно, не понравилась самая пародия — Сократ еще не успел сделать себе столько врагов, и делать его ответственным за атеизм или приписывать именно ему бредни «метеорологов» показалось, может быть, недостаточно метким. Другой комик, Амейпсия, на том же состязании, осмеял Сократа удачнее, по крайней мере, в глазах судей да и зрителей, вероятно: у него это был бедный обжора²²¹, который, однако, никак не решится поугодничать, и мечтатель, хотя и «лучший из немпогих».

В 422 году, в «Осах», Аристофан пародировал одну из основ афинской конституции, предмет особого внимания и законодателей и демагогов — суд присяжных.

Я уже говорил выше о «Мире». К 414 году относится, конечно, гениальнейшее из произведений Аристофана, его «Птицы». Фантастическая община птиц ставит себе целью, благодаря убеждениям некоего Пейфетера, отобшив богов от человеческих жертв, повести их на ряд уступок. Птичье царство — блестящая пародия на Афины, с их жрецами, поэтами, фокусниками и сикофантами. Истощение богов после неудачной попытки дать о себе весть через Ириду, вынуждает их наконец обратиться к главе птичьей общины, и среди эмиссаров Олимпа самую интересную роль играет обжора Геракл, который облаживает довольно унижительный договор с Птицами, предвкушая обед у Пейфетера. Пьеса оканчивается свадебной песней в честь Пейфетера, которому боги по условиям договора дают в жены богиню верховной власти (Василию).

В 411 году мы застаем комедию Аристофана уже в новой стадии — с этих пор политические мотивы смягчаются. Олигархия, открыто показав свою силу, лишила комедию ее свободного творческого развития: несмотря на свои резкие нападки на демагогов, комедия была в сущности сама по себе настоящее дитя демократии, и Периклы и Клеоны, столь часто служившие ей мишенью, заменились разбогатевшими Диксополистами, с большим ущербом для вдохновения Евполида и Аристофана. Кайбель находит, что с 411 года начинается уже определенное перерождение древней комедии в среднюю. В пятом веке мы имеем еще полностью три комедии Аристофана. В 411 году была поставлена «Лисистрата», крайне непристойная комедия нравов, тема которой послужила поводом в следующем веке комикам Алексиду и Амфиду смеяться над

²²¹ Зачеркнуто: «которому его мечтательность и рассеянность мешают стать льстецом». — В. Г.

женовластием. Через несколько месяцев в том же году (на Мартовские Дионисии) был поставлен и «Праздник Фесмофорий» с остроумной пародией на творчество Еврипида, в частности на его драмы «Елена», «Андромаха» и «Паламед». Наконец, на Ленеях 405 года, когда со смертью Софокла завершился классический век античной драмы, с его единственной в мире триадой, Аристофаном были поставлены его знаменитые «Лягушки». Драма не была, однако, прославлением этого последнего представителя Перикловых Афин — гению комика нечего было делать с гармонией и законченностью его изображений.

В центре пьесы стоит Дионис, судья, решающий между двумя поэтами, из которых один, Эсхил, представляет драму, еще нетронутую софистическим искусством, а другой, Еврипид, на этот раз атакован очень серьезно в качестве представителя ложного направления художественной мысли. При этом Аристофан оказался, впрочем, хотя и остроумным критиком, но плохим пророком. Он заставляет Эсхила, противопоставляя свое искусство музе Еврипида, предсказать, что поэзия Еврипида умрет вместе с ним²²². Фигура самого судьи — Диониса — не лишена комического колорита: это бог, которому грозит оскудение его праздников.

«Лягушки» так понравились афинской публике, что не только удостоились первого места на агоне, но даже были даны в том же виде вторично.

Комедия Аристофана является, по-видимому, наиболее ярким выражением того критического отношения к недугам времени, которое отлично пришло на афинской почве, хотя его форма и была заимствована с запада.

Афинская община утилизировала в своих видах не только любовь граждан к красоте, гармонии и радости, создавая храмы и процессии, и не только потребность жалеть и ужасаться — заставляя богатых граждан роскошно ставить трагедии, — она пользовалась и природной насмешливостью афинян, и их склонность к мѐμφεσθαί. Эстетические впечатления и надежда на их повторение и разнообразие <—> в них и Писистрат, и Фемистокл, и Кимон, и Перикл, и Никия видели одно из надежнейших средств связать население с городом, с общиной, с государством.

Комедия была одним из органов политической жизни: в инстинктивном стремлении к равновесию, в вечной боязни утратить обретенную сознанием гармонию, комики — эти неизбежные реалисты, даже бытовики искусства — преследовали насмешкой сегодня Перикла и Аспасию, потому что отошедший в историю, но вчера еще живой Кимон не страдал теми vόσοι, которые обступают нас сегодня и с которыми надо бо-

²²² *Ran.*, v. 868.

роться, потому что бог знает, чем они грозят, а завтра Клеона, потому что он сменил Перикла²²³. Неподвижность и гармоничная тишина мира были неизменно милее комику, потому что в нем чувствовалось не будущее, которое ничего не говорило фантазии комика, а прошлое, т. е. испытанное, бывшее, до сих пор живущее в милом, ничему не угрожающем предании. Комика нельзя изолировать от свойств самого жанра, и Кайбель справедливо говорит, что Аристофан был бы несчастнейшим человеком в мире, если бы мы относили на его личный счет все воссоздаваемые им пародии: несомненно, что некоторые из них носились в воздухе, жили враздобрь в народной молве, другие создавались условно. Пародии комиков не должны были и плодить ту злобу, которая могла, например, накопляться против Сократа. Всякий зритель понимал, что если он имеет дело не с официальной критикой, то все же она взята под покровительство афинской общиной — и соединяется с торжеством и пройденными днями. С другой стороны, как ни кажутся нам беззастенчивы и грубы нападки Аристофана на демагогов, но надо вспомнить, что его эпоха, с ее сикофантами и процессами вообще, допускала такие приемы полемики, о которых теперь мы не можем даже составить себе вполне конкретного представления. Критики думают, что Аристофан имел какие-то личные счета с Клеоном, это был, действительно, не столько вообще *μισοβήρυς*, сколько именно *μισοκλέην*. Еврипид едва ли был во вражде с Аристофаном: по крайней мере его поэзия не дает оснований для такого предположения. Здесь сказывалась скорее, прежде всего, может быть, наполовину профессиональное недоверие и даже злоба к *искателю новизны* во всем: в ситуациях, в источниках пафоса, в трактовке мифа, в музыке; комика возмущала и сентиментальность, и манерность, и софизмы Еврипида. Здесь ему легче было стать на точку зрения *пережитого дня*, почувствовать в самом себе этого человека традиций и здравого смысла, Дикеополиса или Тригея. Даже совпадение вкусов у него и Еврипида должно было раздражать Аристофана: мир комика и мир трагика плохо мирились один с другим: в одном затевались веселые свадьбы, а другой сулил досуги для занятий философией. Может быть, в Аристофане говорила и зависть. Вот что мы находим в одном из аристофановских отрывков (fr. 397D): «Я пользуюсь округленностью его произношения, но я уступаю ему в изображении грубых умов».

²²³ Смешно во что бы то ни стало навязывать комикам олигархические вкусы или делать из комиков орган охранительной аристократии. Но стихия комического — смех, и это осуждает их жить настоящей минутой; то, что отжило, уже не смешно, и если искусству нужен контраст, нужно здоровье, чтоб оттенить недуг, где же искать его, как не в прошлом, остановившемся, отсталом?

Особенность Аристофана лежала, главным образом, в самом искусстве. Его типы, хотя еще не дают характеров, но допускают индивидуальные оттенки; в Дикеополисе или Тригее чувствуется живой человек, но не один: оттенки меняются сообразно тому, с чем имеет он дело: политикой, восстанием, миром или войной. Мифический склад самого мировоззрения дал Аристофану возможность вкладывать в изображение облаков и птиц черты болезненно переживаемой им, неуловимой и дразнящей реальности.

Искусство Аристофана заключалось и в особой живости его диалогов, в прелести хоровых партий, но более всего, конечно, в меткости его пародий и нападок, которые особенно серьезны и тонки, когда дело касается не общих мест и не морали, а вопросов специальности, искусства, сценической техники. Например, трудно до сих пор читать без смеху пародию на отрывки из еврипидовской «Елены», и далеко не без оснований нападал Аристофан на однообразие еврипидовских прологов, бравурные арии его героев и склонность драматурга разрешать конфликты моральными сентенциями. Здесь не потревож^{енное} прошлое произносило суд над притязаниями будущего, а художник критиковал художника.

<IX>

Первым и едва ли не важнейшим искусством Афин эпохи Пелопоннесских войн было создание литературной аттической речи: стоит сравнить между собою по языку «Музы» Геродота и «Историю» Фукидида, чтобы удивиться быстрому исчезновению из литературного языка ионизмов: женственная мягкость диалекта и преобладание паратактических сочетаний, с обилием частиц <τε δέ и γάρ>, над гипотактическими — вот основа геродотовского стиля. Речь Фукидида резко отличается от геродотовской не только в звуковом отношении, но и синтаксически: она изобилует подчиненными причастными формами: в стиле не видно стремление к закругленности и плавности: его характеризует, напротив, скопление гиперболических и анаколупов и смысловых конструкций — обилие мыслей при желании достигнуть возможной краткости выражения создаст под его стилем ту «жесткую фразу», которая подчас ставила в тупик даже Цицерона²²⁴.

Главную заслугу в сближении искусственного языка поэзии с разговорной речью городского общества надо приписать Еврипиду. Даже Аристофан шел в этом случае по его следам, хотя самый жанр предоставлял

²²⁴ Dionys. (Дионис Галикарнасский. — В. Г.) de Thuc., 24: ἀύστηρά καὶ σκοτεινὴ ἔκφρασις. Cf. Cic. Orat., 30, Brutus, 83.

ему большую свободу в выборе слов и выражений, и поэтому — т.е. на комическую сцену могли проникать в пародиях не только дифирамбические, но и искаженные варварами формы аттической речи²²⁵.

В последней четверти века в самом аттическом наречии образовались уже говоры, и Аристофан²²⁶ различает речь города — от женственной говорки пригорода (ἄστν) и несвободной, грубой речи сельского населения. По-видимому, упреки в «варварской речи», столь частые в Афинах того времени, не столько указывают на варварское или диалектическое влияние, сколько подчеркивают склад и звуковую форму речи простонародья.

Еврипид простой и вместе с тем благородной и богатой оттенками речью своих диалогов дал огромную литературно-общественную силу «среднему городскому диалекту» Аттики. Монологи, рассказы вестников и стихомифии Еврипида повлияли на развитие прозаической литературы, особенно через аттических ораторов²²⁷, которые прилежно изучали его трагедии. Успех трагедий Еврипида в широком эллинском мире в свою очередь способствовал влиянию его речи на образование общеэллинского языка. Речь Еврипида не всегда, конечно, держалась на высоте простой и ясно расчлененной фразы. В ней иногда обнаруживалось беспомощное словообилие и расплывчатость, и Аристофан называл ее за это болтливой; она не была порой чужда и некоторой манерности; в общем же в диалоге у Еврипида чаще всего чувствуется естественная свежесть и жизненность стилизованной, но все же разговорной речи.

Из совсем других принципов исходил риторический стиль, связанный с именем знаменитого софиста, итальянского ионийца Горгии, которого афиняне впервые услышали на Пниксе в качестве посла его цветущей тогда родины Леонтии. Цветистый, искусственный, но полный своеобразной красоты стиль Горгии должен был, конечно, очаровать таких любителей слова, как афиняне²²⁸, и риторические фигуры мягкой горгианской речи

²²⁵ См. G. Bernhardt. *Grundr. d. Gr. Liter.* Erster Teil: *Innere Gesch. d. Gr. Liter.* Fünfte Bearb. v. R. Volkmann. S. 437 f. Cf. W. Christ, a. a. o., S. 206 f.; G. Kaibel. *Aristoph.*, a. a. o., 991. Афиняне, впрочем, называли варварскими даже Эолийские формы. Пародия вообще не щадила диалектов, кроме понического, который не казался смешным. Ср. G. Gilbert, a. a. o., 76 f.

²²⁶ Meineke. *Fr. com. gr.*², 1199: διάλεκτον ἔχοντα μέσην πόλεως — οὐτ' ἀστείαν ὑποθλαυτέρα — οὐτ' ἀνελευθέραν ὑπαγοικότεραν.

²²⁷ Quintilianus. *Inst. oratoria*, X, I, 68. В новейшее время любопытна книга A. Douglas Thompson. *Euripides and the attic orators, a comparison.* London, 1898, хотя ее автор и не касается непосредственно вопроса о языке Еврипида и ораторов.

²²⁸ Зачеркнуто: «Они впервые слышали в прозе не речь, а как бы гармонично звучащую постройку, блестящую свежими красками и пленявшую изящным соблюдением пропорций: это не была поэзия, а настоящая проза, но новая, художественная, с еще неслыханными строгими расчленениями, антитезами и симметрией». — В. Г.

дали леонтинцам 20 афинских кораблей²²⁹. Воспри<имчивых> афинян поразила, по словам Диодора²³⁰, экзотичность речи леонтинца (τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως ἐξέπληξε τοὺς Ἀθηναίους). Отрывки из произведений Горгии, которые уцелели до нашего времени и сообщены античными писателями, свидетельствуют об аналитичности в его стиле, искусной симметричности частей, обилии антитез, описательных выражений. Цвет<истая> ритмичность и закругленность речи, в связи с ее ионийской мягкостью и изысканно заботливым отношением к слову этого оратора, составляли в красноречии Горгии яркий контраст с острой и холодной, но яркой и трезвой речью фракийского софиста, который в общем все же находил, вероятно, в афинском обществе больше отзвука, чем блестящие, красочные и льстивые эффекты горгианской прозы, где забота о благозвучии и симметрии у Горгии и его последователей должна была мешать мысли идти ее гордым аллюром и слепить слушателей парадоксами, которые лежат в божественно-огневой природе мысли, а не в свойствах облекающей ее человечески-плавной речи²³¹.

Горгианская струя ощущается, однако, и в афинской жизни последней четверти века, но особенно в следующем столетии. В истории человечества горгианство интересно как первая из известных нам разновидностей той своеобразно-искусственной речи²³², которую мы встречаем в арианизме, в эвфуизме Лили (предшественника Шекспира) и в так называемом «жеманном стиле» первой половины XVII в. во Франции.

В области трагедии учеником Горгии был Агафон, который пользовался самым выдающимся положением среди так называемых младших трагиков: он начал писать около 20-го года, был сыном Тисамена и принадлежал к афинскому роду. Первая трагическая победа его относится к 417 г., в Ленеях. Агафон был красивый, богатый, светский человек: вся его изнеженная внешность, любовь к украшениям, гладко выбритое лицо и завитые волосы давали обильную пищу для остроумия комиков. Предание ставит Агафона в близкие отношения к софистам Горгии и Продику.

Сюжеты для своих пьес Агафон берет, по-видимому, не только в мифах. Одна из его драм называлась, например, «Цветок»²³³. Пьесы Агафона нравились, благодаря своей сентенциозности и словесному искусству, доведенному в них до виртуозности. Аристотель называет Агафона «краснословом»²³⁴.

²²⁹ Thuc., 3, 86.

²³⁰ Diod., 12, 53.

²³¹ См. интересные страницы Th. Gomperz. *Gr. Denk.*, 1, 380 f.

²³² Зачеркнуто продолжение: «которую люди преследовали иные цели». — В. Г.

²³³ Καλλιπής (*Thesm.*, 49, 60).

²³⁴ М. б. имя; см. Aristot. *Poet.*, 9; cf. F. G. Welcker, a. a. o., 3 Abth., 995 f.

Насколько можно судить по отрывкам²³⁵ из Агафонова репертуара, а также по его речи в «Пире» Платона, его стиль отличен обилием и антитез, парисос, а также рифмой и ассонансом. Должно быть, немалую приманку пьес составляла также и новая музыка трагедий, песни сладкого и изнеженного тона: флейта Агафона вошла в поговорку, а стасимы его пьес были действительно музыкальными антрактами и ничем не связывались с драматическим действием. Как бы то ни было, Агафон был, несомненно, одним из самых влиятельных трагиков V века, и притом он немало способствовал распространению в Аттике вкуса и интереса к горгианству.

Но еще сильнее, чем в горгианстве, ионийское искусство проявилось в Афинах — сильнее и глубже в живописи: вся она, начиная с Полигнота, носит на себе печать ионийского гения. Выше я уже говорил о Полигноте, и мне придется еще коснуться его деятельности в одном из послесловий этого тома. И потому здесь я скажу об искусстве Полигнота²³⁶ лишь очень немногое, исключительно то, что нужно для освещения вопроса <об> афинской живописи последних 40 лет пятого века.

Полигнот Фасосский — важнейший представитель с 470 г. монументальной живописи. Он работал в Афинах со своей школой (Микон и Панен). Картины Полигнота, которые он, по преданию, писал даром, имели целью украшение зданий, каковы храм Фесея в Афинах, расписная колоннада (раньше называвш<аяся> Писианактова), там же на рынке, а в Дельфах Лесха (клуб?²³⁷). За Писианактову галерею живописец получил, однако, большую, хотя и не денежную награду в виде аф<инского> гражд<анства>. Размеры его картин были очень велики, например, доски с его дельфийской живописью достигали более семи с половиной метров в длину и около трех с половиной в ширину. Писались Полигнотом картины на досках с белой облицовкой, но красок в

²³⁵ A. Nauck. *Tr. gr. Fr.* 2, 763. Ср. также F. G. Welcker. *Die gr. Trag.*, III Abth., 981 ff. Об Агафоне: G. Bernhardt. *Grund.*, II, 2, 55 f.; Th. Bergk. *Gr. Literaturgesch.*, III, 613 (очень мало). Ср. еще обстоятельную статью Дейтриха (Dieterich. — В. Г.) *P<aul>y>-W<issowa> R.-Enc.* N. B. I, 760 ff.

²³⁶ Литературу см. в превосходной книге Б. В. Фармаковского *Аттическая вазовая живопись* (СПб., 1902, стр. VII+615+254 художественных приложений, с 20 литографиями), куда мы и отсылаем читателей за подробностями. См. кроме того, кроме классической книги Брунна (Brunn. *Gesch. d. griech. Künstler*, II, 14 ff.), *Историю искусства* Вермана (р<усск>. пер. I, 377 сл.); любопытную статью Albr. Stauffer из кн. *Zwölf Gest<alten> der Glanzzeit Athens*. 1896. S. 19 f.; а также *Эллиническую культуру* Баумг. Поланда и Рих. Вагнера в пер. и под ред. проф. Зелинского, 1906, стр. 323 слл.

²³⁷ Как «клуб» это название переводил Фрезер. — В. Г.

его распоряжении было всего четыре: белая, черная, красная и желтая, с некоторыми смесями, конечно, для передачи живописных оттенков, и по достижениям цвет<овым> живопись Полигнота, по свидетельству древних, была большим шагом вперед относительно неподвижности архаич<еских> изобр<ажений>. У него впервые появляется свободная поза фигуры и выражение в полуоткрытых губах. Полигнот был особым мастером передавать выражение глаз — так в <древности> славились глаза его Поликсены (дочери Приама, по преданию, принесенной в ж<ертву> грекам на могиле Ахилла)²³⁸, и в этих глазах древние готовы были видеть чуть ли не всю Троянскую войну²³⁹. Рисунок у Полигнота был чрезвычайно отчетливый и нежный; живописец особенно любил изображать прозрачность спокойной воды, в которой видны камешки, и одежды на молодом женском теле. Аристотель называет Полигнота эфографом: это значило, что живопись этого мастера давала не столько воспроизведение непосредственного зрительного впечатления, сколько понятие о внутренней сущности лица, о его нравственном облике.

Подобно Эсхилу, Полигнот, вероятно, не столько волновал людей близостью своих изображений к природе или их жизни, сколько заставлял искать зрителя за случайностью реальной оболочки ее духовный смысл. Позы фигур Полигнота не были, конечно, вовсе лишены выразительности и даже патетичности: так, на одном из изображений Дельфийской Лесхи испуганный ребенок, сидя на коленях коротко остриженной старухи, в испуге приложил себе руки к глазам. Там же адск<ий> демон Еврином, тот самый, который обгладывает трупы до костей, — страшно скалил зубы; а поза Федры, по словам Павсания, давала намек на то, как эта женщина покончила жизнь, — но драматизм изображений Полигнота читался не столько в живописных средствах художника, сколько в широкой концепции его наглядных мифов. Эти белые расписные доски, где перспектива условно заменялась суперпозицией планов, были еще лишены ландшафта, он на них заменялся кое-где волнистыми линиями, которые скорее показывали зрителю, чем живописно изображали, что задние ряды фигур не висят в воздухе (да и как же бы иллюстрировать иначе хотя бы пытку Сисифа, с ее вечным и бесплодным вкатыванием камня на гору)²⁴⁰.

²³⁸ См. дальше в этом томе «Гескубу».

²³⁹ Зачеркнуто: «Позы, жесты фигур выражали не столько минутное состояние...» — В. Г.

²⁴⁰ Очень любопытна реконструкция «Аида» в названной выше книге Б. Фармаковского (приложение на листе XX).

Для нас картины Полигнота были бы, конечно, теперь лишь предметом любопытства, хотя, вероятно, восторженного, но древних они волновали и эстетически, а <для> современников же живопись Полигнота приобрела славу даже сразу: и это объясняется, конечно, не исключительно живописными достоинствами. Композиции Полигнота самим богатством содержания многое говорили душе, воспитанной на мифах и живущей не только среди мифической символики богослужений, но и среди природы, которая давала глубокий фон для драматических ситуаций мифа. Непосредственное отношение афинян к живописи характерно проявилось, между прочим, в том, что брат²⁴¹ Полигнота Панен вынужден был заплатить штраф за то, что при изображении Марафонской битвы он сделал фигуры персов крупнее, чем греческие.

Но каково же было содержание монументальной живописи Полигнота и его ближайших учеников? Борьба Фесея с амазонками, завоевание Трои, Марафонская битва. На стенах Дельфийской Лесхи Полигнот исполнил «Разрушение Илиона» (иллюстрация известной поэмы) и «Спуск Одиссея в подземное царство» (одиннадцатая песня «Одиссеи»). Уже один выбор этих сюжетов дает возможность оценить высокое моральное и патриотическое значение картин Полигнотовой школы. Но они же свидетельствуют и о гордой уверенности этих мастеров в средствах своего искусства. Недаром современные исследователи²⁴² установили тот факт, что эллинская живопись шла во главе искусства и что в общем ее произведения в своем влиянии и красоте не уступали скульптурным. В частности для Афин это проявилось широким развитием в этом городе живописи на вазах, которые составляли один из главных предметов аттического вывоза. Афинские вазовые живописцы VI века²⁴³ писали еще черным по красной глине. Только Пелопоннесская война должна была приостановить этот вывоз и нанести удар самой работе живописцев вследствие закрытия для Афин главного вывозного рынка, Сиракуз.

Ат<тическая> живопись на вазах, которых от V века, т. е. времени их расцвета, сохранилось очень много, показывает сравн<ительно> высокий уровень вкуса и особенно любовь афинян к живописи. Благодаря

²⁴¹ Зачеркнуто: «один из учеников». Источник сведений Анненского здесь неясен: Панен в самом деле был младшим учеником Полигнота, а не его братом. — В. Г.

²⁴² См. особенно Paul Gerard. *La peinture attique*. P<aris>, 1892 и E. Bertrand. *Études sur la peinture et la critique d'art dans l'antiquité*. P<aris>, 1893. Б. В. Фармаковский прекрасно показал в своей ученой книге влияние Полигнота и вообще монументальной живописи на расписные вазы.

²⁴³ Но еще до греко-персидской войны ими уже было открыто искусство краснофигурности, давшее новые богатые средства для развития вазовой живописной техники. Например, позже появились лекифы с белой облицовкой.

небольшим размерам сосудов и их форме живописцы ваз должны были вырабатывать свои приемы в трактовке изображаемых сюжетов, и техника их своеобразно отличалась от монументальной. Тем не менее освободительное влияние Полигнота и его школы на вазовую живопись несомненно. Особенно сильно сказалось оно на вазах так называемого прекрасного стиля, который процветал в афинской промышленности с конца пятидесятих годов пятого века.

Живопись монументов влияла и на композицию вазовых изображений, и на трактовку отдельных фигур, и позже на полихромиию. Только сюжеты вазовой живописи не являются столь строго мифологическими, как в монументальной живописи: жанр вносит на лекифах разнообразие в мифы: перед нами в стиле Полигнота трактуются сцены домашней жизни, туалет афинской дамы, забавы, посещение гробниц и т. п.

Но был в Афинах род живописи, и притом тоже осуществляемой в больших размерах, для которой характер картин Полигнота оказывался совершенно неподходящим: дело в том, что эта живопись лишь служила другому этическому искусству — поэзии, а главное, она не воспроизводила человеческих фигур: я разумею скенографию, для которой необходимо было прежде всего достижение оптических эффектов. Между 80-й и 90-й Олимпиадой (между 460 г. и 420 г.) в Афинах, и, кажется, исключительно в этом городе, процветал самосец Агафарх, сын Евдема: он писал театральные кулисы и, разумеется, не мог уже обойтись без некоторого соблюдения перспективы²⁴⁴. Стремление к перспективе замечалось еще в строгом стиле краснофигурных ваз, но там оно лишь как бы намечалось укорочением отдельных фигур²⁴⁵.

Но Агафарх не был только мастером. Весьма вероятное предание, подтвержденное авторитетом Витрувия, приписывает ему те<х>нич<еское> сочинение о постановке эсхилловских драм. Характерен, хотя более для Алкивиада, чем для Аполлодора анекдот, что этот Евпатрид хотел силой заставить Агафарха расписывать свой дом, но скенограф сбежал через три месяца, несмотря на перспективу большой награды²⁴⁶.

Агафарх все же был скорее живописных дел мастер, чем художник, и легенда о том, что Зевксис упрекал его в быстрой работе, хорошо иллюстрирует характер его живописи. Значение его в истории живописи было, однако, очень велико: благодаря ему Аполлодор, а за ним Зевксис создают теневую живопись. «Направление Аполлодора было, — по словам

²⁴⁴ Vitruv. VII, 11; Brunn. *Gesch. d. gr. Künstl.*, II, 51 f.

²⁴⁵ O. Rossbach. *Agatharchos* (14). *P<auly>-W<issowa> R<eal> Enc<iclopedia>*. N. B. I, 741 f.

²⁴⁶ См. ссылку у Rossbach, a. a. o.

Верманна, — величайшим переворотом, какие только живопись испытала с древнейших времен своего существования: плоскость и стильность уступили свое место телесной пространственной глубине»²⁴⁷.

Хотя Аполлодор был афинянин, но его направление не сразу было оценено глазами, привыкшими к белым плоскостям Полигнота; и новую живопись звали азиатской. Литературное предание называет нам сюжеты двух картин Аполлодора: «Жрец на молитве» и «Аякс, пораженный молнией». Характерно, что обе, по-видимому, с одною фигурой, по крайней мере, на первом плане. Из уцелевших от старины расписных лскифов есть один (берл<инский> муз<ей>) — «Плач над умершим»²⁴⁸, где моделированы оттенением мужские коричневые фигуры.

Младшим <из> современников Аполлодора был Зевксис, за ним следовал <и> Паррасий и Тиманф²⁴⁹: деятельность этих ионийцев в Афинах относится ко времени Пелопоннесских войн.

Зевксис, родом из ю<жно>-ит<альянской> Гераклеи, учился у Аполлодора, но большую часть времени провел в Эфесе. Значение этого художника, в отличие от Полигнота и в связи с искусством Аполлодора, заключалось не столько в нравственном моменте изображ<ения>, сколько в зрительном эффекте картин. В миф входит бытовая струя: например, Зевксис пишет «Семью кентавров на мураве» — и эта своеобразная пастораль отчасти, вероятно, шла в параллель с драмой сатиров. Пенелопе Зевксис, по преданию, придал выражение скромности; может быть, этот мотив не лишен был некоторой рафинированности, наподобие той стыдливой Елены, которой посвятил в те же годы трагедию Еврипид. Характерный анекдот заставляет Зевксиса в Кротоне, где он писал свою знаменитую «Елену», требовать, чтобы для его картины перед ним позировали все красивейшие девушки города: т<аким> о<бразом> художник в своей картине еще не передавал самой жизни в ее индивидуальных проявлениях, а искал типа.

Паррасий Эфесский за свои художественные заслуги получил афинское гражданство.

По-видимому, в его картинах момент душевного движения преобладал над эффектом внешним: скованный Промефеей, больной Филоктет на Лемносе, притворный безумец Одиссей — эти сюжеты показывают, что интерес Паррасиевой живописи лежал в искусстве выражения болезненной, не в меру волнуемой души. Моделировка тела, по свидетель-

²⁴⁷ Ист<ория> иск<усства>, р<усск>. пер., т. I, 384.

²⁴⁸ См. о нем Верман, у<каз>. с<оч>. 384 и в прил<ожении>.

²⁴⁹ О них см. книги Брунна, Вермана, Баумейстера и Штауффера, уже цитированные выше.

ству древних, достигла у Паррасия совершенства: применив к живописи учение о соотношениях, он же первый стал красиво укладывать на головах волосы и придавал особую прелесть очертаниям губ.

Несколько загадочны известия авторов о «Демосе» Паррасия: здесь в одной фигуре иониец изобразил, по словам Плиния, самые различные и даже исключают друг друга черты афинской толпы: (?) запальчивость и уступчивость, непостоянство, кротость и несправедливость. Чтобы картина эта производила то впечатление, о котором говорит Плиний, Паррасий должен был в большой мере владеть чисто живописными средствами в передаче контуров, рефлексов и теней.

Третий известный живописец из ионийской школы конца века был Тиманф: мы знаем о нем очень мало, может быть сила его заключалась не столько в художественной разработке отдельных лиц и фигур, сколько в ансамбле и драматизме групп: он писал, например, «Спор из-за оружия Ахилла» — патетизм картины определяется уже самим выбором темы. «Жертвоприношение Ифигении» отчасти известно нам по одному из позднейших воспроизведений этого сюжета (на помпейской фреске). Картина делилась на две части статуей Артемиды; с одной — два эллина несли обнаженную и обезумевшую от мук Ифигению, и впереди их виднелась чрезвычайно высокая фигура увенчанного Калханта. По другую сторону статуи, прикрыв голову перекидкой и отвернувшись, стоял Агамемнон, и, по-видимому, очень выразительна была рука, которою он прикрывал себе глаза. Анекдоты, завешанные нам древностью, изображают ионийских художников последней четверти века людьми оригинальных, но далеко не строгих нравов — большие средства, приобретенные работой, и успех развили как в Зевксисе, так и в Паррасии большое самомнение, и оно проявлялось в изысканности костюмов и привычек: так Зевксис, по преданию, показывался в Олимпе в одежде, затканной буквами его имени; Паррасий любил одеваться в пурпур, золотил сандалии, и по белой повязке в его волосах иногда горел тоже золотой венчик. Как бы ни относиться ко всем этим рассказам о живописцах, но, помимо своего рода экзотичности — она проявлялась и ранее в Гипподаме — на них нельзя не видеть и своеобразного афинского колорита последних десятилетий державы. Дендизм молодого Алкивиада и его компании и причуды Агафона, который писал свои трагедии среди курений, во всяком случае, не оставляли Зевксиса и Паррасия в Афинах одиночками или хотя бы исключительными — накопление богатств и презрение к старине, результаты рационалистической политики старых демагогов Клизфена, Эфиальта и Перикла, вероятно, в большей мере, чем ионийские моды, объясняют проявления в афинской жизни индивидуализма как морального, так и показного.

Глава десятая²⁵⁰Афинский национализм и зарождение
идеи мирового гражданства²⁵¹

Эллин и варвар в афинском сознании. — Геродот. — Национализм Еврипида. — Пути, по которым входили в сознание элементы космополитизма. — Односторонность взглядов Пельмана и Виламовица. — Демокрит и Гиппия. — Освободительная сила слов. — Еврипид и увлечение его новейшего исследователя. — Чем, действительно, содействовал Еврипид росту идеи мирового гражданства?

И искусство, и мораль изучаемой нами эпохи остаются еще в общем строго национальными. Для афинского сознания мир все еще резко делится на эллинский и варварский. Первый предполагает личную свободу, законность и развитый язык общественной жизни и литературы; второй, варварский, азиатский, сплошь состоит из рабов, среди которых не раб только один тот, кто в настоящем является деспотом, басилеем. Даже Кир (младший), несмотря на высокое свое положение и притом в устах Ксенофонта, называется рабом²⁵². Аристотель и тот различает в человечестве *рабский* элемент, зависимый от природы (*ἀρχόμενον*), сопоставляя его с другим, таким же отданным во власть сильнейшему самой природой, т. е. женским²⁵³.

Хотя понятия о прекрасном и должном и являются у греков, по общему правилу, в неизменно национальной окраске, но происходит это не вследствие того, что чтобы эллинское предпочиталось всемирному, а лишь потому что все *эллинское* мыслится единым природно-свободным. Притом же свобода, некогда завоеванная и с тех пор чуть ли не непрерывно защищаемая оружием, усиливает в глазах грека значение эллинизма как национального элемента. Только свободный может в его глазах быть благороден, а природный раб не имеет оснований для героизма и самопожертвования, хотя жизнь и не имеет, по существу, никакой це<ны>²⁵⁴.

²⁵⁰ Зачеркнуто Анненским: «Заключение. Поэзия Еврипида в ее аттическом и мировом моменте». — В. Г.

²⁵¹ Эту заключительную главу Анненский опубликовал под заглавием «Афинский национализм и зарождение идеи мирового гражданства» в журнале *Гермес*. 1907. № 1 (1 октября), стр. 21–25 и № 2 (15 октября), стр. 50–52, с некоторыми изменениями и с пометой автора: «Из книги «Еврипид и его время», готовящейся к печати». — В. Г.

²⁵² Xen. *Anabasis*, I, 10, 29; II, 6, 38.

²⁵³ *Pol.*, I, 2, pg. 1252.

²⁵⁴ Журнальный вариант: «Раб — непременно труслив и несчастен — и для двух этих качеств у грека даже находилось одно общее слово *δειλός*. Несчастный фригиец в «Оресте» дрожит от страха при одном виде меча, которым играет царевич, хотя

«Как ты, раб, и боишься умереть», — говорит оратор Фригиец евнуху²⁵⁵. С другой стороны, Ифигения в посмертной трагедии Еврипида умирает вольной жертвой, потому что эта смерть сулит торжество принципу свободы над силой рабства: греки разрушат Трою и «надменный варвар уже не посмеет более красть свободную гречанку»²⁵⁶.

Геродот сделал противоположность двух миров — варварского и эллинского — основной мыслью своих «Муз», хотя путешествия не могли не расширить его горизонта знакомством и с административной и финансовой системой персов, и с халдейской мудростью²⁵⁷, и с древним благочестием Египта. Но дело в том, что в пятом веке Афины блеском своих побед, храмов, игр и высокомерием своего державного демоса создали в эллинском мире новый и притягательный центр. Город стал Элладой Эллады²⁵⁸, и таким образом Геродот получил общеэллинское сознание историка именно здесь, на Панафинеях, а не на своей родине, хотя казалось бы там, под рукой у персов, принцип эллинизма и должен был чувствоваться острее²⁵⁹.

Из всех греческих трагиков, как это ни странно по виду, но именно Еврипид, несмотря на свой вкус к экзотизму и философскую просвещенность ума, был как раз наиболее аттическим²⁶⁰.

Мифы самые разнообразные он старательно вводит в соприкосновение с афинским миром; иные мотивы, если только они клонятся к чести афинского имени, он проводит на сцену даже по нескольку раз: например, о суде над Орестом в афинском ареопаге у Еврипида упоминается

жизнь его для окружающих не имеет никакой ценности. А гречанка Ифигения при подобных же условиях, т. е. создавая, что один свободный эллин стоит «десятка тысяч женских жизней», умирает героиней, и притом умирает за самый принцип свободы, в чаянии, что надменный варвар, в виду разрушенной Трои, уже не посмеет более красть свободную гречанку», стр. 22. — В. Г.

²⁵⁵ См. перевод «Ореста» в 3-м томе этого издания.

²⁵⁶ См. перевод «Ифигении-жертвы» в 3-м томе этого издания.

²⁵⁷ В журнальном варианте еще: «и с блеском лидийского предания», стр. 22. — В. Г.

²⁵⁸ По выражению афинской эпитафии Еврипида.

²⁵⁹ В журнальном варианте: «Но дело в том, что Геродота сделали историком именно Афины, а этот город в пятом веке сумел придать идее эллинизма еще небывалый дотоле блеск. Город стал «Элладой Эллады». Но это-то именно представление об Афинах, как центре эллинского мира, культивируясь в сознании герольдов этого города, и обещало в будущем идею мира уже не только эллинского, но и всеобъемлющего: дело в том, что с самого начала центр Эллады заявил себя чуждым всякой исключительности», стр. 22. — В. Г.

²⁶⁰ См. интересную берлинскую диссертацию Emil Ermatinger. *Die attische Autochthonensage bis auf Euripides*. Berlin, 1897. S. 27 f. et pass.

три раза, притом это только в уцелевших пьесах²⁶¹. Среди уцелевшего репертуара четыре трагедии целиком принадлежат аттической мифологии: «Гераклиды», «Умоляющие», «Ипполит» и «Ион» — но ведь уцелело всего 19 пьес²⁶², из тех же, которые нам известны только по отрывкам, на долю Аттики надо прибавить еще по крайней мере 10, а судя по тому, что известные нам пьесы, не связанные с Атикой непосредственно, полны намеков на Афины и их историю²⁶³, надо предполагать то же и относительно остального репертуара.

Понятие о человеческом достоинстве, свободе и будущем человечества не могло, однако, в Элладе остановиться в своем развитии хотя бы на идее панэлленизма. Мы видим, что зерна космополитизма были даже в культах, где они дали ростки в Элевсинских мистериях. Не могла быть национальна и наука.

Но прежде чем касаться этой области²⁶⁴, остановимся ненадолго на экономической стороне вопроса. Афиняне²⁶⁵ были исконные²⁶⁶ непоседы, и Фукидид противопоставляет их в этом отношении спартамцам, называя тех, наоборот, «упорными домоседами»²⁶⁷.

«Мораль купца»²⁶⁸, по словам Пельмана²⁶⁹, задолго до «морали разума» обусловила культ мирового гражданства, и для этого историка остается под вопросом, где, собственно, правильнее искать корней философии космополитизма: в уединенной ли работе мысли над явлениями общечеловеческими или, наоборот, в личных опытах людей, которым приходится иметь дело с правительством. Характерны, например, в этом отношении такие признания одного афинянина²⁷⁰ пятого века: «Когда я был богат, то государство (афинское) приказывало мне тратить средства, а выезжать никуда мне не позволялось. Зато теперь, когда я лишился и заграничных своих владений, и здесь не получаю более дохода с земли, и

²⁶¹ *El.*, 1254 sq.; *Iph.*, T. 942 sq.; *Or.*, 1648 sq.

²⁶² В журнальном варианте: «даже, может быть, восемнадцать», стр. 23. — В. Г.

²⁶³ Кроме «Андромахи», поставленной в Аргосе и «Вакханок», написанных в Македонии.

²⁶⁴ В журн. варианте: «Но прежде, чем выходить из пределов эллинизма...», стр. 23. — В. Г.

²⁶⁵ В журн. варианте: «Афиняне, хотя и мнившие себя автохтонами, всегда были "непоседами"...», стр. 23. — В. Г.

²⁶⁶ Зачеркнуто: «"бродяги", т. е. их постоянно тянуло из дому». — В. Г.

²⁶⁷ ἐνδημότητος, I, 70, 4.

²⁶⁸ В журн. варианте: «Афинян гоняла по морю торговля, и вот именно эта-то возросшая на практической почве "мораль купцов"...», стр. 23. — В. Г.

²⁶⁹ Rob. Pöhlmann. *Sokrates u. sein Volk*. München und Leipzig, 1899. S. 40.

²⁷⁰ *Xen. Constitution of Athens*, 4, 30 sq.

даже домашняя худобина²⁷¹ вся пошла в продажу... о, теперь я свободный гражданин и могу выезжать или оставаться здесь, как мне удобно»²⁷².

Один из афинских ораторов начала IV века в свою очередь упоминает об элементах афинского населения, для которых понятие отечества определяется лишь выгодой, от него получаемой, — отечество их там, где их капитал²⁷³. Нет никакого сомнения, что такие факты, как частые сношения с иностранцами, дома и за границей, мораль купцов, международность капитала, а также разочарование при виде изнанки демократии — все эти обстоятельства могли через ряд поколений заложить в афинянина глубокий слой космополитизма. Но не следует обесценивать момента идейного на счет экономических.

Наука есть всегда наука, т. е. нечто совершенно несоизмеримое ни с «личным опытом», ни с равнодействующей из личных опытов в виде «мудрых пословиц», «морали купцов» или «смелости кровельщиков». Сама по себе мораль афинских коммерсантов дала Риму *graecam fidem*, но и только. Религия и наука развивались рядом с ней и отчасти из нее, но лишь как из почвы, а не как из зерна.

В свою очередь, идеи даже в личном сознании, пока они не перешли путем просвещения к более широким кругам населения, образуются не сразу: чем более мысль идет вразрез с умственными привычками массы, тем созревание ее совершается медленнее²⁷⁴. Вот почему я не могу согласиться и с Вилламовицем, когда он высказывает, что уже ионийские физики сознавали себя гражданами мира. «Иначе», говорит он, «они никогда бы не отважились поколебать предания»²⁷⁵.

Чувствовать себя вне прямой связи с родным городом и даже указывать, как Анаксагор апскдота, свое отечество на небесном своде, еще не значит сознавать себя гражданином мира: для этого человек прежде всего должен признавать то же право за каждым, кто дышит и мыслит.

В Демокрите (род. около 460 г.) и особенно среди софистов есть уже проблески, но только проблески космополитического сознания. Так, легенда сохранила нам одно выражение Абдерита именно в таком духе:

²⁷¹ В журн. варианте: «утварь». — В. Г.

²⁷² В журн. варианте: «заблагорассудится». — В. Г.

²⁷³ *Lys.*, 31, 6. Cf. R. Pöhlm., ad l. c.

²⁷⁴ Журн. вариант: «Противоположная крайность нравится мне не более, чем суждение Пельмана. Идеи даже в тесных кругах растут очень медленно, и мысль философа становится иногда глубокой и ценной лишь после того, как десятки поколений прошли через ее могилу», стр. 24. — В. Г.

²⁷⁵ В журн. варианте добавлен еще один абзац: «Но если даже признать за ионийцами эту широту сознания, ее едва ли не пришлось бы ограничить отрицательным отношением к вопросу», стр. 24. — В. Г.

«Мудрецу открыта (βατή) вся земля, потому что целый мир отечество доброй душе»²⁷⁶. Софисту же Гиппии (из Элиды) Платон вкладывает в уста такие характерные слова²⁷⁷: «Вы, присутствующие, все вы для меня — родные, собратья и сограждане. Потому что равное самой природою роднит-ся²⁷⁸ с равным, и грек всегда сродни другому греку — только учреждение (θεῖσις), этот деспот, многообразно распоряжается нами против природы».

Вообще стремление разобраться в понятиях *природы*, с одной стороны, и *уклада* или *закона* — с другой, должно было немало содействовать тому, чтобы в сознании людей стали легче перемещаться перегородки, отдаляющие одну человеческую группу от другой.

Таким образом предание²⁷⁹ теряло в уме людей одну из своих главных опор. Кроме философской мысли естественному росту понятий²⁸⁰ в обществе и постепенному обновлению миросозерцания должны содействовать и те незаметные перемены в словаре, которые заставляют человека, слушая и говоря, полусознательным процессом подставлять одно понятие вместо другого.

Слово βαρβαρος еще неизвестно Гомеру — точнее, гомеровский грек не нуждается в нем: ему довольно вокабулы βαρβαρόφωνος, т. е. «странно говорящий, непонятный». Но уже для читателя «Илиады» троянский поход есть общеэллинская борьба с варваром. Для Геродота βαρβαρος еще значит только «чужестранец» — и он говорит, что египтяне называют так всех неегиптян²⁸¹, но уже Аристофан употребляет слово «варвар» в смысле порицания: «грубый, похожий на варвара»²⁸². Это показывает, что в последнюю четверть века слово βαρβαρος уже получило метафоричность, которая подсказывала людям возможность иного деления человечества, кроме того, которое заведено гомеровским преданием.

Рядом с полусознательным перебоем в значении слов идет и сознательная проверка слов уже как терминов. Так Платон²⁸³ обличает всю смехотворную неточность термина *варвар*, которым обозначается нечто совершенно неопределенное и разносоставное²⁸⁴, а для Исократ-

²⁷⁶ I. Stob. Floril, 40, 7.

²⁷⁷ Журн. вариант: «такие характерные слова, хотя еще и в эллинской окраске», стр. 24. — В. Г.

²⁷⁸ Журн. вариант: «сближается». — В. Г.

²⁷⁹ Журн. вариант: «а с ним и национальность». — В. Г.

²⁸⁰ Журн. вариант: «о человеческом». — В. Г.

²⁸¹ Нег., II, 158.

²⁸² Аг. Nubes, 492: "Ἀνθρώπος ἀμαθὴς οὗτος καὶ βαρβαρος.

²⁸³ Politic., VI, pg. 262D.

²⁸⁴ Журн. вариант: «нечто совершенно неопределенное вследствие своей разносоставности», стр. 25. — В. Г.

та²⁸⁵ эллин есть уже всякий образованный человек, а варвар, наоборот, — нецивилизованный. Сама жизнь может заставлять сомневаться в точности принятого деления. Так, на македонцев греки и сами не знали, как смотреть, причислять ли их к эллинам или оставлять в массе варваров.

Еврипид, столь чуткий к идейным веяниям и столь недоверчивый к ценности традиций, завещал нам в своем наследии, главным образом фрагментарном, кое-какие намеки на идею космополитизма. Но мы решительно не вправе сказать, что он до нее дорос. На любопытных страницах, где несравненный исследователь его поэзии В. Нестле собрал²⁸⁶ все, сюда относящееся, мы находим слишком мало данных для такого заключения. Можно ли, например, объяснить космополитически такой отрывок из «Фаэтона»: «Повсюду отечество; это земля, которая кормит». Это скорее та почва, на которой могла привиться идея космополитизма, и напрасно Нестле видит мировое гражданство в таких сентенциях, как *Ubi bene ibi patria*. Иногда на почве таких максим выражают<ся> даже скорее империалисты, чем космополиты.

Ближе к будущей идее всемирного братства стоят отрывки из неизвестных трагедий, ставшие потом, особенно первый, крылатыми словами: «Благородный человек, живи он хоть и далеко, в чужой стране, будь он недоступен моим глазам, все же мой друг»²⁸⁷, или:

«Весь воздух — дорога для орла.

Вся земля — отчизна для благородного (мужа)»²⁸⁸.

Мне думается, однако, что у Еврипида были другие — уже не сентенциозные — а более художественные начала космополитизма.

Я разумею *воспроизведение им случайно обездоленных существующих*: о женщине я уже говорил выше, о рабе скажу сейчас.

Афины были крупным невольничьим рынком, и хотя рабы, по словам олигархического памфлета, не отличались от свободных афинян даже одеждой и нередко толкали их на улицах, но все же положение рабов было бесправное (их даже пытали), и невольничий удел по справедливости считался величайшим несчастьем. Рабский труд в Афинах составлял одну из темнейших сторон *афинской демократии*: дело в том, <что> именно

²⁸⁵ Isocr. *Paneg.*, 50.

²⁸⁶ W. Nestle, a. a. o., 361 ff.; 548 ff.

²⁸⁷ *Fr.*, 902. См. к этому целую литературу у A. Nauck. *Tr. gr. Fr.*³, 650 sq.

²⁸⁸ В журн. варианте еще один абзац: «Здесь есть уже как бы некоторое предчувствие всемирного братства и искания, а не оппортунизм во вкусе сентенций: "*Ubi bene, ibi patria*"», стр. 50–51. — В. Г.

та стихия демоса, которая особенно усердно поддерживала ее на Пниксе, постоянно множила рабов: свободный труд был почти недоступен мелким промышленным предпринимателям²⁸⁹, и город должен был наводняться индустриальными рабами. Еврипид рождением примыкал к противоположной и побежденной партии аграриев, и с этой стороны в его поэзии сохранился *патриархальный взгляд* на раба²⁹⁰, как на члена семьи: кормилица Федры или Медеи, старый дядька Агамемнона, к которому Электра относится с большим уважением²⁹¹ (вспомним совершенно подобную же ситуацию в «Ионе») — эти домочадцы, по-своему преданные и близкие господам, — являются, однако, глубоко рабскими по своей природе: все они беспомощны, трусливы и, главное, безответственны²⁹² — не раз и драматург пользуется их рабьей угодливостью, близорукостью, чтобы освободить героиню (Федру, Креусу) от неприличного ей и обреченного на неудачу дерзания²⁹³. Пусть эти рабы не «живые машины» Аристотеля, все же они и не полные люди — у них нет ни славных воспоминаний, ни будущего²⁹⁴, и, что хуже всего, у них есть при этом свой кодекс рабской добродетели и даже амбиции²⁹⁵. Я думаю, однако, что с принципом рабства Еврипид боролся не своими «благородными рабами», а мастерским изображением «пафоса порабощения». Андромаха, вдова Гектора, обращенная в рабыню и паложницу²⁹⁶, или вчерашняя царица Гекуба, которая зовет милой подругой свою вчерашнюю же служанку, — вот что должно было сильнее гном, выуженных потом из поэзии Еврипида его поклонниками, направлять мысль слушателей на рабство как учреждение.

²⁸⁹ Журн. вариант: «предпринимателям, между которыми едва ли было много сторонников олигархии, — и благодаря именно этому город наводнялся индустриальными рабами», стр. 51. — В. Г.

²⁹⁰ Журн. вариант: «сравнительно более счастливого, вероятно, чем городские», стр. 51. — В. Г.

²⁹¹ Журн. вариант: «к которому Электра относится с таким же почтением, как Креуса к воспитателю своего отца, все эти рабы являются близкими господам домочадцами, и отношения между ними и семьей их господина иногда трогает нас своей интимной жизненностью (см. особенно «Электру»)», стр. 51. — В. Г.

²⁹² Правда, их бьют, но это не трагическая кара.

²⁹³ Журн. вариант: «Но если вы взглянете в добродетельных и преданных рабов, то увидите в них, кажется, еще более страшное, чем у рабов комедии, искажение человеческой природы. Они беспомощны и трусливы, несмотря на хитрость и наглость, и главное, они, драматически, безответственны», стр. 51. — В. Г.

²⁹⁴ В журн. варианте добавлено: «ни даже героической муки». — В. Г.

²⁹⁵ Журн. вариант: «И вчуже становится холодно от заменяющего их кодекса рабской добродетели или притязания рабской амбиции», стр. 51. — В. Г.

²⁹⁶ В журн. варианте добавлено: «и дважды лишаемая детей». — В. Г.

Благородная Поликсена, в рабском одеянии идущая на смерть, лучше всех сентенций в мире говорила и уму, и сердцу, и воображению о том, что рабство не только может, но и должно быть противно человеческой природе²⁹⁷.

Глубокий пафос Еврипида и трогательность его простой, так часто женственной речи, могли не раз пошевелить в особо восприимчивых умах слушателей его пьес еще крепко сидящую там перегородку между свободным и рабом, мужчиною и женщиной, эллином и варваром, но я все же не вижу оснований делать из этого трагика ближайшего предтечу стоиков.

Другое дело — Еврипид книги, Еврипид в том виде²⁹⁸, как им пользовались люди следующих поколений. Здесь его драмы, действительно, вместе с комедией Менандра, стали «библией космополитического эллин<ства>», как некогда этой библией для народного эллинства являлись «Илиада» и «Одиссея»²⁹⁹.

Но Еврипид тогда уже «не думал» — это было не его время.



²⁹⁷ В журн. варианте добавлен еще один абзац: «Но все это лишь зыбкая почва впечатлений», стр. 52. — В. Г.

²⁹⁸ Журн. вариант: «в той потенции». — В. Г.

²⁹⁹ Th. Mommsen. *R. Gesch.*², I, S. 918; cf. W. Nestle, a. a. o., 550.